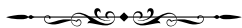


ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ
ДОСТОЕВСКИЙ



(1821–1881)

*Посвящается
Анне Григорьевне Достоевской*

Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода.

*(Евангелие от Иоанна,
гл. XII, ст. 24)*

ОТ АВТОРА

Начиная жизнеописание героя моего, Алексея Федоровича Карамазова, нахожусь в некотором недоумении. А именно: хотя я и называю Алексея Федоровича моим героем, но, однако, сам знаю, что человек он отнюдь не великий, а посему и предвижу неизбежные вопросы вроде таковых: чем же замечателен ваш Алексей Федорович, что вы выбрали его своим героем? Что сделал он такого? Кому и чем известен? Почему я, читатель, должен тратить время на изучение фактов его жизни?

Последний вопрос самый роковой, ибо на него могу лишь ответить: «Может быть, увидите сами из романа». Ну а коль прочтут роман и не увидят, не согласятся с примечательностью моего Алексея Федоровича? Говорю так, потому что с прискорбием это предвижу. Для меня он примечателен, но решительно сомневаюсь, успею ли это доказать читателю. Дело в том, что это, пожалуй, и деятель, но деятель неопределенный, невыяснившийся. Впрочем, странно бы требовать в такое время, как наше, от людей ясности. Одно, пожалуй, довольно несомненно: это человек странный, даже чужак. Но странность и чужачество скорее вредят, чем дают право на внимание, особенно когда все стремятся к тому, чтоб объединить частности и найти хоть какой-нибудь общий толк во всеобщей бестолочи. Чужак же в большинстве случаев частность и обособление. Не так ли?

Вот если вы не согласитесь с этим последним тезисом и ответите: «Не так» или «не всегда так», то я, пожалуй, и ободрюсь духом насчет значения героя моего Алексея Федоровича. Ибо не только чужак «не всегда» частность и обособление, а напротив, бывает так, что он-то, пожалуй, и носит в себе иной раз сердцевину целого, а остальные люди его эпохи — все, каким-нибудь напывным ветром, на время почему-то от него оторвались...

Я бы, впрочем, не пускался в эти весьма нелюбопытные и смутные объяснения и начал бы просто-запросто без предисловия: понравится — так и так прочтут; но беда в том, что жизнеописание-то у меня одно, а романов два. Главный роман второй — это деятельность моего героя уже в наше время, именно в наш теперешний текущий момент. Первый же роман произошел еще тринадцать лет назад, и есть почти даже и не роман, а лишь один момент из первой юности моего героя. Обойтись мне без этого первого романа невозможно, потому что многое во втором романе стало бы непонятным. Но таким образом еще усложняется первоначальное мое затруднение: если уж я, то есть сам биограф, нахожу, что и одного-то романа, может быть, было бы для такого скромного и неопределенного героя излишне, то каково же являться с двумя и чем объяснить такую с моей стороны заносчивость?

Теряясь в разрешении сих вопросов, решаюсь их обойти безо всякого разрешения. Разумеется, прозорливый читатель уже давно угадал, что я с самого начала к тому клонил, и только досадовал на меня, зачем я даром трачу бесплодные слова и драгоценное время. На это отвечу уже в точности: тратил я бесплодные слова и драгоценное время, во-первых, из вежливости, а во-вторых, из хитрости: все-таки, дескать, заране в чем-то предупредил. Впрочем, я даже рад тому, что роман мой разбился сам собою на два рассказа «при существенном единстве целого»: познакомившись с первым рассказом, читатель уже сам определит: стоит ли ему приниматься за второй? Конечно, никто ничем не связан; можно бросить книгу и с двух страниц первого рассказа, с тем чтоб и не раскрывать более. Но ведь есть такие деликатные читатели, которые непременно захотят дочитать до конца, чтобы не ошибиться в беспристрастном суждении; таковы, например, все русские критики. Так вот перед такими-то все-таки сердцу легче: несмотря на всю их аккуратность и добросовестность, все-таки даю им самый законный предлог бросить рассказ на первом эпизоде романа. Ну вот и все предисловие. Я совершенно согласен, что оно лишнее, но так как оно уже написано, то пусть и останется.

А теперь к делу.



БРАТЯ
КАРАМАЗОВЫ





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



КНИГА ПЕРВАЯ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЕЙКИ

I. Федор Павлович Карамазов

Алексей Федорович Карамазов был третьим сыном помещика нашего уезда Федора Павловича Карамазова, столь известного в свое время (да и теперь еще у нас припоминаемого) по трагической и темной кончине своей, приключившейся ровно тринадцать лет назад и о которой сообщу в своем месте. Теперь же скажу об этом «помещике» (как его у нас называли, хотя он всю жизнь совсем почти не жил в своем поместье) лишь то, что это был странный тип, довольно часто, однако, встречающийся, именно тип человека не только дрянного и развратного, но вместе с тем и бестолкового, — но из таких, однако, бестолковых, которые умеют отлично обделывать свои имущественные делишки, и только, кажется, одни эти. Федор Павлович, например, начал почти что ни с чем, помещик он был самый маленький, бегал обедать по чужим столам, норовил в приживальщичьи, а между тем в момент кончины его у него оказалось до ста тысяч рублей чистыми деньгами. И в то же время он все-таки всю жизнь свою продолжал быть одним из бестолковейших сумасбродов по всему нашему уезду. Повторю еще: тут не глупость; большинство этих сумасбродов довольно умно и хитро, — а именно бестолковость, да еще какая-то особенная, национальная.

Он был женат два раза, и у него было три сына: старший, Дмитрий Федорович, от первой супруги, а остальные два, Иван и Алексей, от второй. Первая супруга Федора Павловича была из довольно богатого и знатного рода дворян Миусовых, тоже помещиков нашего уезда. Как именно случилось, что девушка с приданым, да еще красивая и, сверх того, из бойких умниц, столь нередких у нас в теперешнее поколение, но появлявшихся уже и в прошлом, могла выйти замуж за такого ничтожного «мозгляка», как все его тогда называли, объяснять слишком не стану. Ведь знал же я одну девицу, еще в за-

прошлом «романтическом» поколении, которая после нескольких лет загадочной любви к одному господину, за которого, впрочем, всегда могла выйти замуж самым спокойным образом, кончила, однако же, тем, что сама навыдумала себе непреодолимые препятствия и в бурную ночь бросилась с высокого берега, похожего на утес, в довольно глубокую и быструю реку и погибла в ней решительно от собственных капризов, единственно из-за того, чтобы походить на шекспировскую Офелию, и даже так, что будь этот утес, столь давно ею намеченный и излюбленный, не столь живописен, а будь на его месте лишь прозаический плоский берег, то самоубийства, может быть, не произошло бы вовсе. Факт этот истинный, и надо думать, что в нашей русской жизни, в два или три последние поколения, таких или однородных с ним фактов происходило немало. Подобно тому и поступок Аделаиды Ивановны Миусовой был без сомнения отголоском чужих вейний и тоже пленной мысли раздражением. Ей, может быть, захотелось заявить женскую самостоятельность, пойти против общественных условий, против деспотизма своего родства и семейства, а услужливая фантазия убедила ее, положим, на один только миг, что Федор Павлович, несмотря на свой чин приживальщика, все-таки один из смелейших и насмешливейших людей той, переходной ко всему лучшему, эпохи, тогда как он был только злой шут, и больше ничего. Пикантное состояло еще и в том, что дело обошлось увозом, а это очень прельстило Аделаиду Ивановну. Федор же Павлович на все подобные пассажи был даже и по социальному своему положению весьма тогда подготовлен, ибо страстно желал устроить свою карьеру хотя чем бы то ни было; примазаться же к хорошей родне и взять приданое было очень заманчиво. Что же до обоюдной любви, то ее вовсе, кажется, не было — ни со стороны невесты, ни с его стороны, несмотря даже на красоту Аделаиды Ивановны. Так что случай этот был, может быть, единственным в своем роде в жизни Федора Павловича, сладострастнейшего человека во всю свою жизнь, в один миг готового прильнуть к какой угодно юбке, только бы та его поманила. А между тем одна только эта женщина не произвела в нем со страстной стороны никакого особенного впечатления.

Аделаида Ивановна, тотчас же после увоза, мигом разглядела, что мужа своего она только презирает, и больше ничего. Таким образом, следствия брака обозначились с чрезвычайною быстротой.

Несмотря на то, что семейство даже довольно скоро примирилось с событием и выделило беглянке приданое, между супругами началась самая беспорядочная жизнь и вечные сцены. Рассказывали, что молодая супруга выказала при том несравненно более благородства и возвышенности, нежели Федор Павлович, который, как известно теперь, подтибрил у нее тогда же, разом, все ее денюжки, до двадцати пяти тысяч, только что она их получила, так что тысячки эти с тех пор решительно как бы канули для нее в воду. Деревеньку же и довольно хороший городской дом, которые тоже пошли ей в приданое, он долгое время и изо всех сил старался перевести на свое имя чрез совершение какого-нибудь подходящего акта и наверно бы добился того из одного, так сказать, презрения и отвращения к себе, которое он возбуждал в своей супруге ежеминутно своими бесстыдными вымогательствами и вымаливаниями, из одной ее душевной усталости, только чтоб отвязался. Но, к счастью, вступилось семейство Аделаиды Ивановны и ограничило хапугу. Положительно известно, что между супругами происходили нередкие драки, но, по преданию, бил не Федор Павлович, а была Аделаида Ивановна, дама горячая, смелая, смуглая, нетерпеливая, одаренная замечательною физической силой. Наконец она бросила дом и сбежала от Федора Павловича с одним погибавшим от нищеты семинаристом-учителем, оставив Федору Павловичу на руках трехлетнего Митю. Федор Павлович мигом завел в доме целый гарем и самое забубенное пьянство, а в антрактах ездил чуть не по всей губернии и слезно жаловался всем и каждому на покинувшую его Аделаиду Ивановну, причем сообщал такие подробности, которые слишком бы стыдно было сообщать супругу о своей брачной жизни. Главное, ему как будто приятно было и даже льстило разыгрывать пред всеми свою смешную роль обиженного супруга и с прикрасами даже расписывать подробности о своей обиде. «Подумаешь, что вы, Федор Павлович, чин получили, так вы довольны, несмотря на всю вашу горесть», — говорили ему насмешники. Многие даже прибавляли, что он рад явиться в подновленном виде шута и что нарочно, для усиления смеха, делает вид, что не замечает своего комического положения. Кто знает, впрочем, может быть, было это в нем и наивно. Наконец ему удалось открыть следы своей беглянки. Бедняжка оказалась в Петербурге, куда переехала с своим семинаристом и где беззаветно пустилась в самую полную эмансипацию. Федор Павлович немедленно захопота

и стал собираться в Петербург, — для чего? — он, конечно, и сам не знал. Право, может быть, он бы тогда и поехал; но, предприняв такое решение, тотчас же почел себя в особенном праве, для бодрости, пред дорогой, пуститься вновь в самое безбрежное пьянство. И вот в это-то время семейством его супруги получилось известие о смерти ее в Петербурге. Она как-то вдруг умерла, где-то на чердаке, по одним сказаниям — от тифа, а по другим — будто бы с голоду. Федор Павлович узнал о смерти своей супруги пьяный; говорят, побежал по улице и начал кричать, в радости воздевая руки к небу: «Ныне отпускаеши», а по другим — плакал навзрыд как маленький ребенок, и до того, что, говорят, жалко даже было смотреть на него, несмотря на все к нему отвращение. Очень может быть, что было и то, и другое, то есть что и радовался он своему освобождению, и плакал по освободительнице — все вместе. В большинстве случаев люди, даже злодеи, гораздо наивнее и простодушнее, чем мы вообще о них заключаем. Да и мы сами тоже.

II. Первого сына спровадил

Конечно, можно представить себе, каким воспитателем и отцом мог быть такой человек. С ним как с отцом именно случилось то, что должно было случиться, то есть он вовсе и совершенно бросил своего ребенка, прижитого с Аделаидой Ивановной, не по злобе к нему или не из каких-нибудь оскорбленно-супружеских чувств, а просто потому, что забыл о нем совершенно. Пока он докучал всем своими слезами и жалобами, а дом свой обратил в развратный вертеп, трехлетнего мальчика Митю взял на свое попечение верный слуга этого дома Григорий, и не позаботясь он тогда о нем, то, может быть, на ребенке некому было бы переменить рубашонку. К тому же так случилось, что родня ребенка по матери тоже как бы забыла о нем в первое время. Деда его, то есть самого господина Миусова, отца Аделаиды Ивановны, тогда уже не было в живых; овдовевшая супруга его, бабушка Мити, переехавшая в Москву, слишком расхворалась, сестры же повышли замуж, так что почти целый год пришлось Мите пробыть у слуги Григория и проживать у него в дворовой избе. Впрочем, если бы папаша о нем и вспомнил (не мог же он в самом деле не знать о его существовании), то и сам сослал бы его

опять в избу, так как ребенок все же мешал бы ему в его дебоширстве. Но случилось так, что из Парижа вернулся двоюродный брат покойной Аделаиды Ивановны, Петр Александрович Миусов, многие годы сряду выживший потом за границей, тогда же еще очень молодой человек, но человек особенный между Миусовыми, просвещенный, столичный, заграничный и притом всю жизнь свою европеец, а под конец жизни либерал сороковых и пятидесятих годов. В продолжение своей карьеры он перебивал в связях со многими либеральнейшими людьми своей эпохи, и в России и за границей, знал лично и Прудона и Бакунина и особенно любил вспоминать и рассказывать, уже под концом своих странствий, о трех днях февральской парижской революции сорок восьмого года, намекая, что чуть ли и сам он не был в ней участником на баррикадах. Это было одно из самых отраднейших воспоминаний его молодости. Имел он состояние независимое, по прежней пропорции около тысячи душ. Превосходное имение его находилось сейчас же на выезде из нашего городка и граничило с землей нашего знаменитого монастыря, с которым Петр Александрович, еще в самых молодых летах, как только получил наследство, мигом начал нескончаемый процесс за право каких-то ловель в реке или порубок в лесу, доподлинно не знаю, но начать процесс с «клерикалами» почел даже своею гражданскою и просвещенною обязанностью. Услышав все про Аделаиду Ивановну, которую, разумеется, помнил и когда-то даже заметил, и узнав, что остался Митя, он, несмотря на все молодое негодование свое и презрение к Федору Павловичу, в это дело ввязался. Тут-то он с Федором Павловичем в первый раз и познакомился. Он прямо ему объявил, что желал бы взять воспитание ребенка на себя. Он долго потом рассказывал, в виде характерной черты, что когда он заговорил с Федором Павловичем о Мите, то тот некоторое время имел вид совершенно не понимающего, о каком таком ребенке идет дело, и даже как бы удивился, что у него есть где-то в доме маленький сын. Если в рассказе Петра Александровича могло быть преувеличение, то все же должно было быть и нечто похожее на правду. Но действительно Федор Павлович всю жизнь свою любил представляться, вдруг проиграть пред вами какую-нибудь неожиданную роль, и, главное, безо всякой иногда надобности, даже в прямой ущерб себе, как в настоящем, например, случае. Черта эта, впрочем, свойственна чрезвычайно многим людям, и даже весьма умным, не то что Федору

Павловичу. Петр Александрович повел дело горячо и даже назначен был (купно с Федором Павловичем) в опекуны ребенку, потому что все же после матери оставалось именье — дом и поместье. Митя действительно переехал к этому двоюродному дяде, но собственного семейства у того не было, а так как сам он, едва лишь уладив и обеспечив свои денежные получения с своих имений, немедленно поспешил опять надолго в Париж, то ребенка и поручил одной из своих двоюродных теток, одной московской барыне. Случилось так, что, обжившись в Париже, и он забыл о ребенке, особенно когда настала та самая февральская революция, столь поразившая его воображение и о которой он уже не мог забыть всю свою жизнь. Московская же барыня умерла, и Митя перешел к одной из замужних ее дочерей. Кажется, он и еще потом переменял в четвертый раз гнездо. Об этом я теперь распространяться не стану, тем более что много еще придется рассказывать об этом первенце Федора Павловича, а теперь лишь ограничиваюсь самыми необходимыми о нем сведениями, без которых мне и романа начать невозможно.

Во-первых, этот Дмитрий Федорович был один только из трех сыновей Федора Павловича, который рос в убеждении, что он все же имеет некоторое состояние и когда достигнет совершенных лет, то будет независим. Юность и молодость его протекли беспорядочно: в гимназии он не доучился, попал потом в одну военную школу, потом очутился на Кавказе, выслужился, дрался на дуэли, был разжалован, опять выслужился, много кутил и сравнительно прожил довольно денег. Стал же получать их от Федора Павловича не раньше совершеннолетия, а до тех пор наделал долгов. Федора Павловича, отца своего, узнал и увидал в первый раз уже после совершеннолетия, когда нарочно прибыл в наши места объяснить с ним насчет своего имущества. Кажется, родитель ему и тогда не понравился; пробыл он у него недолго и уехал поскорей, успев лишь получить от него некоторую сумму и войдя с ним в некоторую сделку насчет дальнейшего получения доходов с имения, которого (факт достопримечательный) ни доходности, ни стоимости он в тот раз от Федора Павловича так и не добился. Федор Павлович заметил тогда, с первого разу (и это надо запомнить), что Митя имеет о своем состоянии понятие преувеличенное и неверное. Федор Павлович был очень этим доволен, имея в виду свои особые расчеты. Он вывел

лишь, что молодой человек легкомыслен, буен, со страстями, нетерпелив, кутила и которому только чтобы что-нибудь временно перехватить, и он хоть на малое время, разумеется, но тотчас успокоится. Вот это и начал эксплуатировать Федор Павлович, то есть отделяться малыми подачками, временными высылками, и в конце концов так случилось, что когда, уже года четыре спустя, Митя, потеряв терпение, явился в наш городок в другой раз, чтобы совсем уж покончить дела с родителем, то вдруг оказалось, к его величайшему изумлению, что у него уже ровно нет ничего, что и сосчитать даже трудно, что он перебрал уже деньгами всю стоимость своего имущества у Федора Павловича, может быть еще даже сам должен ему; что по таким-то и таким-то сделкам, в которые сам тогда-то и тогда пожелал вступить, он и права не имеет требовать ничего более, и проч., и проч. Молодой человек был поражен, заподозрил неправду, обман, почти вышел из себя и как бы потерял ум. Вот это-то обстоятельство и привело к катастрофе, изложение которой и составит предмет моего первого вступительного романа или, лучше сказать, его внешнюю сторону. Но, пока перейду к этому роману, нужно еще рассказать и об остальных двух сыновьях Федора Павловича, братьях Мити, и объяснить, откуда те-то взялись.

III. Второй брак и вторые дети

Федор Павлович, спровадив с рук четырехлетнего Митю, очень скоро после того женился во второй раз. Второй брак этот продолжался лет восемь. Взял он эту вторую супругу свою, тоже очень молоденькую особу, Софью Ивановну, из другой губернии, в которую заехал по одному мелкоподрядному делу, с каким-то жидком в компании. Федор Павлович хотя и кутил, и пил, и дебоширил, но никогда не переставал заниматься помещением своего капитала и устраивал делишки свои всегда удачно, хотя, конечно, почти всегда подловато. Софья Ивановна была из «сироток», безродная с детства, дочь какого-то темного дьякона, взросшая в богатом доме своей благодетельницы, воспитательницы и мучительницы, знатной генеральши-старухи, вдовы генерала Ворохова. Подробностей не знаю, но слышал лишь то, что будто воспитанницу, кроткую, незлобивую и безответную, раз сняли с петли, которую она привесила на гвозде

в чулане, — до того тяжело было ей переносить своенравие и вечные попреки этой, по-видимому не злой, старухи, но бывшей лишь нестерпимейшею самодуркой от праздности. Федор Павлович предложил свою руку, о нем справились и его прогнали, и вот тут-то он опять, как и в первом браке, предложил сиротке увоз. Очень, очень может быть, что и она даже не пошла бы за него ни за что, если б узнала о нем своевременно побольше подробностей. Но дело было в другой губернии; да и что могла понимать шестнадцатилетняя девочка, кроме того, что лучше в реку, чем оставаться у благодетельницы. Так и променяла бедняжка благодетельницу на благодетеля. Федор Павлович не взял в этот раз ни гроша, потому что генеральша рассердилась, ничего не дала и, сверх того, прокляла их обоих; но он и не рассчитывал на этот раз взять, а прельстился лишь замечательною красотой невинной девочки и, главное, ее невинным видом, поразившим его, сладострастника и доселе порочного любителя лишь грубой женской красоты. «Меня эти невинные глазки как бритвой тогда по душе полоснули», — говаривал он потом, гадко по-своему хихикая. Впрочем, у развратного человека и это могло быть лишь сладострастным влечением. Не взяв же никакого вознаграждения, Федор Павлович с супругой не церемонился и, пользуясь тем, что она, так сказать, пред ним «виновата» и что он ее почти «с петли снял», пользуясь, кроме того, ее феноменальным смирением и безответностью, даже пограл ногами самые обыкновенные брачные приличия. В дом, тут же при жене, съезжались дурные женщины, и устраивались оргии. Как характерную черту сообщу, что слуга Григорий, мрачный, глупый и упрямый резонер, ненавидевший прежнюю барыню Аделаиду Ивановну, на этот раз взял сторону новой барыни, защищал и бранился за нее с Федором Павловичем почти непозволительным для слуги образом, а однажды так даже разогнал оргию и всех наехавших безобразниц силой. Впоследствии с несчастною, с самого детства запуганною молодою женщиной произошло вроде какой-то нервной женской болезни, встречаемой чаще всего в простонародье у деревенских баб, именуемых за эту болезнь кликушами. От этой болезни, со страшными истерическими припадками, больная временами даже теряла рассудок. Родила она, однако же, Федору Павловичу двух сыновей, Ивана и Алексея, первого в первый год брака, а второго три года спустя. Когда она померла, мальчик Алексей был по четвертому году, и хоть и странно это, но

я знаю, что он мать запомнил потом на всю жизнь, — как сквозь сон, разумеется. По смерти ее с обоими мальчиками случилось почти точь-в-точь то же самое, что и с первым, Митей: они были совершенно забыты и брошены отцом и попали все к тому же Григорию и также к нему в избу. В избе их и нашла старуха самодурка генеральша, благодетельница и воспитательница их матери. Она еще была в живых и все время, все восемь лет, не могла забыть обиды, ей нанесенной. О житье-бытье ее «Софьи» все восемь лет она имела из-под руки самые точные сведения и, слыша, как она больна и какие безобразия ее окружают, раза два или три произнесла вслух своим приживалкам: «Так ей и надо, это ей Бог за неблагодарность послал».

Ровно три месяца по смерти Софьи Ивановны генеральша вдруг явилась в наш город лично и прямо на квартиру Федора Павловича и всего-то пробыла в городке с полчаса, но много сделала. Был тогда час вечерний. Федор Павлович, которого она все восемь лет не видала, вышел к ней пьяненький. Повествуют, что она мигом, безо всяких объяснений, только что увидала его, задала ему две знатные и звонкие пощечины и три раза рванула его за вихор сверху вниз, затем, не прибавив ни слова, направилась прямо в избу к двум мальчикам. С первого взгляда заметив, что они не вымыты и в грязном белье, она тотчас же дала еще пощечину самому Григорию и объявила ему, что увозит обоих детей к себе, затем вывела их в чем были, завернула в плед, посадила в карету и увезла в свой город. Григорий снес эту пощечину как преданный раб, не сгрубил ни слова, и когда провожал старую барыню до кареты, то, поклонившись ей в пояс, внушительно произнес, что ей «за сирот Бог заплатит». «А все-таки ты балбес!» — крикнула ему генеральша, отъезжая. Федор Павлович, сообразив все дело, нашел, что оно дело хорошее и в формальном согласии своем насчет воспитания детей у генеральши не отказал потом ни в одном пункте. О полученных же пощечинах сам ездил рассказывать по всему городу.

Случилось так, что и генеральша скоро после того умерла, но выговорив, однако, в завещании обоим малюткам по тысяче рублей каждому «на их обучение, и чтобы все эти деньги были на них истрачены непременно, но с тем, чтобы хватило вплоть до совершеннолетия, потому что слишком довольно и такой подачки для этаких детей, а если кому угодно, то пусть сам раскошеляется», и проч., и проч. Я завещания сам не читал, но слышал, что именно было что-

то странное в этом роде и слишком своеобразно выраженное. Главным наследником старухи оказался, однако же, честный человек, губернский предводитель дворянства той губернии Ефим Петрович Поленов. Списавшись с Федором Павловичем и мигом угадав, что от него денег на воспитание его же детей не вытатишь (хотя тот прямо никогда не отказывал, а только всегда в этаких случаях тянул, иногда даже изливаясь в чувствительностях), он принял в сиротах участие лично и особенно полюбил младшего из них, Алексея, так что тот долгое время даже и рос в его семействе. Это я прошу читателя заметить с самого начала. И если кому обязаны были молодые люди своим воспитанием и образованием на всю свою жизнь, то именно этому Ефиму Петровичу, благороднейшему и гуманнейшему человеку, из таких, какие редко встречаются. Он сохранил малюткам по их тысяче, оставленной генеральшей, неприкосновенно, так что они к совершеннолетию их возросли процентами, каждая до двух, воспитал же их на свои деньги и уж, конечно, гораздо более, чем по тысяче, издержал на каждого. В подробный рассказ их детства и юности я опять пока не вступаю, а обозначу лишь самые главные обстоятельства. Впрочем, о старшем, Иване, сообщу лишь то, что он рос каким-то угрюмым и закрывшимся сам в себе отроком, далеко не робким, но как бы еще с десяти лет проникнувшим в то, что растут они все-таки в чужой семье и на чужих милостях и что отец у них какой-то такой, о котором даже и говорить стыдно, и проч., и проч. Этот мальчик очень скоро, чуть не в младенчестве (как передавали по крайней мере), стал обнаруживать какие-то необыкновенные и блестящие способности к учению. В точности не знаю, но как-то так случилось, что с семьей Ефима Петровича он расстался чуть ли не тринадцати лет, перейдя в одну из московских гимназий и на пансион к какому-то опытному и знаменитому тогда педагогу, другу с детства Ефима Петровича. Сам Иван рассказывал потом, что все произошло, так сказать, от «пылкости к добрым делам» Ефима Петровича, увлекшегося идеей, что гениальных способностей мальчик должен и воспитываться у гениального воспитателя. Впрочем, ни Ефима Петровича, ни гениального воспитателя уже не было в живых, когда молодой человек, кончив гимназию, поступил в университет. Так как Ефим Петрович плохо распорядился и получение завещанных самодуркой генеральшей собственных детских денег, возросших с тысячи уже на две процентами, замедлилось по разным

совершенно неизбежимым у нас формальностям и проволочкам, то молодому человеку в первые его два года в университете пришлось очень солоно, так как он принужден был все это время кормить и содержать себя сам и в то же время учиться. Заметить надо, что он даже и попытки не захотел тогда сделать списаться с отцом, — может быть, из гордости, из презрения к нему, а может быть, вследствие холодного здравого рассуждения, подсказавшего ему, что от папеньки никакой чуть-чуть серьезной поддержки не получит. Как бы там ни было, молодой человек не потерялся нисколько и добился-таки работы, сперва уроками в двугривенный, а потом бегая по редакциям газет и доставляя статейки в десять строчек об уличных происшествиях, за подписью «Очевидец». Статьи эти, говорят, были так всегда любопытно и пикантно составлены, что быстро пошли в ход, и уж в этом одном молодой человек оказал все свое практическое и умственное превосходство над тою многочисленною, вечно нуждающеюся и несчастною частью нашей учащейся молодежи обоего пола, которая в столицах, по обыкновению, с утра до ночи обивает пороги разных газет и журналов, не умея ничего лучше выдумать, кроме вечного повторения одной и той же просьбы о переводах с французского или о переписке. Познакомившись с редакциями, Иван Федорович все время потом не разрывал связей с ними и в последние свои годы в университете стал печатать весьма талантливые разборы книг на разные специальные темы, так что даже стал в литературных кружках известен. Впрочем, лишь в самое только последнее время ему удалось случайно обратить на себя вдруг особенное внимание в гораздо большем круге читателей, так что его весьма многие разом тогда отметили и запомнили. Это был довольно любопытный случай. Уже выйдя из университета и готовясь на свои две тысячи съездить за границу, Иван Федорович вдруг напечатал в одной из больших газет одну странную статью, обратившую на себя внимание даже и неспециалистов, и, главное, по предмету, по-видимому, вовсе ему незнакомому, потому что кончил он курс естественником. Статья была написана на поднявшийся повсеместно тогда вопрос о церковном суде. Разбирая некоторые уже поданные мнения об этом вопросе, он высказал и свой личный взгляд. Главное было в тоне и в замечательной неожиданности заключения. А между тем многие из церковников решительно сочли автора за своего. И вдруг рядом с ними не только гражданственники, но даже

сами атеисты принялись и с своей стороны аплодировать. В конце концов некоторые догадливые люди решили, что вся статья есть лишь дерзкий фарс и насмешка. Упоминаю о сем случае особенно потому, что статья эта своевременно проникла и в подгородный знаменитый наш монастырь, где возникшим вопросом о церковном суде вообще интересовались, — проникла и произвела совершенное недоумение. Узнав же имя автора, заинтересовались и тем, что он уроженец нашего города и сын «вот этого самого Федора Павловича». А тут вдруг к самому этому времени явился к нам и сам автор.

Зачем приехал тогда к нам Иван Федорович, — я, помню, даже и тогда еще задавал себе этот вопрос с каким-то почти беспокойством. Столь роковой приезд этот, послуживший началом ко стольким последствиям, для меня долго потом, почти всегда, оставался делом неясным. Вообще судя, странно было, что молодой человек, столь ученый, столь гордый и осторожный на вид, вдруг явился в такой безобразный дом, к такому отцу, который всю жизнь его игнорировал, не знал его и не помнил, и хоть не дал бы, конечно, денег ни за что и ни в каком случае, если бы сын у него попросил, но все же всю жизнь боялся, что и сыновья, Иван и Алексей, тоже когда-нибудь придут да и попросят денег. И вот молодой человек поселяется в доме такого отца, живет с ним месяц и другой, и оба уживаются как не надо лучше. Последнее даже особенно удивило не только меня, но и многих других. Петр Александрович Миусов, о котором я говорил уже выше, дальний родственник Федора Павловича по его первой жене, случился тогда опять у нас, в своем подгородном имении, пожаловав из Парижа, в котором уже совсем поселился. Помню, он-то именно и дивился всех более, познакомившись с заинтересовавшим его чрезвычайно молодым человеком, с которым он не без внутренней боли пикировался иногда познаниями. «Он горд, — говорил он нам тогда про него, — всегда добудет себе копейку, у него и теперь есть деньги на заграницу — чего ж ему здесь надо? Всем ясно, что он приехал к отцу не за деньгами, потому что во всяком случае отец их не даст. Пить вино и развратничать он не любит, а между тем старик и обойтись без него не может, до того ужились!» Это была правда; молодой человек имел даже видимое влияние на старика; тот почти начал его иногда как будто слушаться, хотя был чрезвычайно и даже злобно подчас своенравен; даже вести себя начал иногда приличнее...

Только впоследствии выяснилось, что Иван Федорович приезжал отчасти по просьбе и по делам своего старшего брата, Дмитрия Федоровича, которого в первый раз отроду узнал и увидал тоже почти в это же самое время, в этот самый приезд, но с которым, однако же, по одному важному случаю, касавшемуся более Дмитрия Федоровича, вступил еще до приезда своего из Москвы в переписку. Какое это было дело, читатель вполне узнает в свое время в подробности. Тем не менее даже тогда, когда я уже знал и про это особенное обстоятельство, мне Иван Федорович все казался загадочным, а приезд его к нам все-таки необъяснимым.

Прибавляю еще, что Иван Федорович имел тогда вид посредника и примирителя между отцом и затеявшим тогда большую ссору и даже формальный иск на отца старшим братом своим, Дмитрием Федоровичем.

Семейка эта, повторяю, сошлась тогда вся вместе в первый раз в жизни, и некоторые члены ее в первый раз в жизни увидели друг друга. Лишь один только младший сын, Алексей Федорович, уже с год пред тем как проживал у нас и попал к нам, таким образом, раньше всех братьев. Вот про этого-то Алексея мне всего труднее говорить теперешним моим предисловным рассказом, прежде чем вывести его на сцену в романе. Но придется и про него написать предисловие, по крайней мере чтобы разъяснить предварительно один очень странный пункт, именно: будущего героя моего я принужден представить читателям с первой сцены его романа в ряске послушника. Да, уже с год как проживал он тогда в нашем монастыре и, казалось, на всю жизнь готовился в нем затвориться.

IV. Третий сын Алеша

Было ему тогда всего двадцать лет (брату его Ивану шел тогда двадцать четвертый год, а старшему их брату, Дмитрию, — двадцать восьмой). Прежде всего объявляю, что этот юноша, Алеша, был вовсе не фанатик и, по-моему, по крайней мере, даже и не мистик вовсе. Заранее скажу мое полное мнение: был он просто ранний человеколюбец, и если ударился на монастырскую дорогу, то потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему, так сказать, идеал исхода рвавшейся из мрака мирской злобы к свету

любви души его. И поразила-то его эта дорога лишь потому, что на ней он встретил тогда необыкновенное, по его мнению, существо — нашего знаменитого монастырского старца Зосиму, к которому привязался всею горячею первою любовью своего неуголимого сердца. Впрочем, я не спорю, что был он и тогда уже очень странен, начав даже с колыбели. Кстати, я уже упоминал про него, что, оставшись после матери всего лишь по четвертому году, он запомнил ее потом на всю жизнь, ее лицо, ее ласки, «точно как будто она стоит предо мной живая». Такие воспоминания могут запоминаться (и это всем известно) даже и из более раннего возраста, даже с двухлетнего, но лишь выступая всю жизнь как бы светлыми точками из мрака, как бы вырванным уголком из огромной картины, которая вся погасла и исчезла, кроме этого только уголочка. Так точно было и с ним: он запомнил один вечер, летний, тихий, отворенное окно, косые лучи заходящего солнца (косые-то лучи и запомнились всего более), в комнате в углу образ, пред ним зажженную лампадку, а пред образом на коленях рыдающую как в истерике, со взвизгиваниями и вскрикиваниями, мать свою, схватившую его в обе руки, обнявшую его крепко до боли и молящую за него Богородицу, протягивающую его из объятий своих обеими руками к образу как бы под покров Богородице... и вдруг вбегает нянька и вырывает его у нее в испуге. Вот картина! Алеша запомнил в тот миг и лицо своей матери: он говорил, что оно было исступленное, но прекрасное, судя по тому, сколько мог он припомнить. Но он редко кому любил поверять это воспоминание. В детстве и юности он был мало экспансивен и даже мало разговорчив, но не от недоверия, не от робости или угрюмой нелюдимости, вовсе даже напротив, а от чего-то другого, от какой-то как бы внутренней заботы, собственно личной, до других не касавшейся, но столь для него важной, что он из-за нее как бы забывал других. Но людей он любил: он, казалось, всю жизнь жил, совершенно веря в людей, а между тем никто и никогда не считал его ни простячком, ни наивным человеком. Что-то было в нем, что говорило и внушало (да и всю жизнь потом), что он не хочет быть судьей людей, что он не захочет взять на себя осуждения и ни за что не осудит. Казалось даже, что он все допускал, нимало не осуждая, хотя часто очень горько грустя. Мало того, в этом смысле он до того дошел, что его никто не мог ни удивить, ни испугать, и это даже в самой ранней своей молодости. Явясь по двадцатому году к отцу, положитель-

но в вертеп грязного разврата, он, целомудренный и чистый, лишь молча удалялся, когда глядеть было нестерпимо, но без малейшего вида презрения или осуждения кому бы то ни было. Отец же, бывший когда-то приживальщик, а потому человек чуткий и тонкий на обиду, сначала недоверчиво и угрюмо его встретивший («много, дескать, молчит и много про себя рассуждает»), скоро кончил, однако же, тем, что стал его ужасно часто обнимать и целовать, не далее как через две какие-нибудь недели, правда с пьяными слезами, в хмельной чувствительности, но видно, что полюбив его искренно и глубоко и так, как никогда, конечно, не удавалось такому, как он, никого любить...

Да и все этого юношу любили, где бы он ни появился, и это с самых детских даже лет его. Очутившись в доме своего благодетеля и воспитателя, Ефима Петровича Поленова, он до того привязал к себе всех в этом семействе, что его решительно считали там как бы за родное дитя. А между тем он вступил в этот дом еще в таких младенческих летах, в каких никак нельзя ожидать в ребенке расчетливой хитрости, пронырства или искусства заискать и понравиться, уменья заставить себя полюбить. Так что дар возбуждать к себе особенную любовь он заключал в себе, так сказать, в самой природе, безыскусственно и непосредственно. То же самое было с ним и в школе, и, однако же, казалось бы, он именно был из таких детей, которые возбуждают к себе недоверие товарищей, иногда насмешки, а пожалуй, и ненависть. Он, например, задумывался и как бы отъединялся. Он с самого детства любил уходить в угол и книжки читать, и, однако же, и товарищи его до того полюбили, что решительно можно было назвать его всеобщим любимцем во все время пребывания его в школе. Он редко бывал резв, даже редко весел, но все, взглянув на него, тотчас видели, что это вовсе не от какой-нибудь в нем угрюмости, что, напротив, он ровен и ясен. Между сверстниками он никогда не хотел выставляться. Может, по этому самому он никогда и никого не боялся, а между тем мальчики тотчас поняли, что он вовсе не гордится своим бесстрашием, а смотрит как будто и не понимает, что он смел и бесстрашен. Обиды никогда не помнил. Случалось, что через час после обиды он отвечал обидчику или сам с ним заговаривал с таким доверчивым и ясным видом, как будто ничего и не было между ними вовсе. И не то чтоб он при этом имел вид, что случайно забыл или намеренно простил обиду, а просто

не считал ее за обиду, и это решительно пленяло и покоряло детей. Была в нем одна лишь черта, которая во всех классах гимназии, начиная с низшего и даже до высших, возбуждала в его товарищах постоянное желание подтрунить над ним, но не из злобной насмешки, а потому, что это было им весело. Черта эта в нем была дикая, иступленная стыдливость и целомудренность. Он не мог слышать известных слов и известных разговоров про женщин. Эти «известные» слова и разговоры, к несчастью, неискоренимы в школах. Чистые в душе и сердце мальчишки, почти еще дети, очень часто любят говорить в классах между собою и даже вслух про такие вещи, картины и образы, о которых не всегда заговорят даже и солдаты, мало того, солдаты-то многого не знают и не понимают из того, что уже знакомо в этом роде столь юным еще детям нашего интеллигентного и высшего общества. Нравственного разврата тут, пожалуй, еще нет, цинизма тоже нет настоящего, развратного, внутреннего, но есть наружный, и он-то считается у них нередко чем-то даже деликатным, тонким, молодецким и достойным подражания. Видя, что «Алешка Карамазов», когда заговорят «про это», быстро затыкает уши пальцами, они становились иногда подле него нарочно толпой и, насильно отнимая руки от ушей его, кричали ему в оба уха скверности, а тот рвался, спускался на пол, ложился, закрывался, и все это не говоря им ни слова, не бранясь, молча перенося обиду. Под конец, однако, оставили его в покое и уже не дразнили «девчонкой», мало того, глядели на него в этом смысле с сожалением. Кстати, в классах он всегда стоял по учению из лучших, но никогда не был отмечен первым.

Когда умер Ефим Петрович, Алеша два года еще пробыл в губернской гимназии. Неутешная супруга Ефима Петровича, почти тотчас же по смерти его, отправилась на долгий срок в Италию со всем семейством, состоявшим все из особ женского пола, а Алеша попал в дом к каким-то двум дамам, которых он прежде никогда и не видывал, каким-то дальним родственницам Ефима Петровича, но на каких условиях, он сам того не знал. Характерная тоже, и даже очень, черта его была в том, что он никогда не заботился, на чьи средства живет. В этом он был совершенная противоположность своему старшему брату, Ивану Федоровичу, пробедствовавшему два первые года в университете, кормя себя своим трудом, и с самого детства горько почувствовавшему, что живет он на чужих хлебах у благодетеля. Но эту странную черту в характере Алексея, кажет-

ся, нельзя было осудить очень строго, потому что всякий чуть-чуть лишь узнавший его тотчас, при возникшем на этот счет вопросе, становился уверен, что Алексей непременно из таких юношей вроде как бы юродивых, которому попади вдруг хотя бы даже целый капитал, то он не затруднится отдать его, по первому даже спросу, или на доброе дело, или, может быть, даже просто ловкому пройдохе, если бы тот у него попросил. Да и вообще говоря, он как бы вовсе не знал цены деньгам, разумеется не в буквальном смысле говоря. Когда ему выдавали карманные деньги, которых он сам никогда не просил, то он или по целым неделям не знал, что с ними делать, или ужасно их не берег, мигом они у него исчезали. Петр Александрович Миусов, человек насчет денег и буржуазной честности весьма щекотливый, раз, впоследствии, приглядевшись к Алексею, произнес о нем следующий афоризм: «Вот, может быть, единственный человек в мире, которого оставьте вы вдруг одного и без денег на площади незнакомо-го в миллион жителей города, и он ни за что не погибнет и не умрет с голоду и холоду, потому что его мигом накормят, мигом пристроят, а если не пристроят, то он сам мигом пристроится, и это не будет стоить ему никаких усилий и никакого унижения, а пристроившему никакой тягости, а, может быть, напротив, почтут за удовольствие».

В гимназии своей он курса не кончил; ему оставался еще целый год, как он вдруг объявил своим дамам, что едет к отцу по одному делу, которое взбрело ему в голову. Те очень жалели его и не хотели было пускать. Проезд стоил очень недорого, и дамы не позволили ему заложить свои часы — подарок семейства благодетеля пред отъездом за границу, а роскошно снабдили его средствами, даже новым платьем и бельем. Он, однако, отдал им половину денег назад, объявив, что непременно хочет сидеть в третьем классе. Приехав в наш городок, он на первые расспросы родителя: «Зачем именно пожаловал, не докончив курса?» — прямо ничего не ответил, а был, как говорят, не по-обыкновенному задумчив. Вскоре обнаружилось, что он разыскивает могилу своей матери. Он даже сам признался было тогда, что затем только и приехал. Но вряд ли этим исчерпывалась вся причина его приезда. Всего вероятнее, что он тогда и сам не знал и не смог бы ни за что объяснить: что именно такое как бы поднялось вдруг из его души и неотразимо повлекло его на какую-то новую, неведомую, но неизбежную уже дорогу. Федор Павлович не мог указать ему, где похоронил свою вторую супругу, потому что никог-

да не бывал на ее могиле, после того как засыпали гроб, а за давностью лет и совсем запамятовал, где ее тогда хоронили...

К слову о Федоре Павловиче. Он долгое время пред тем прожил не в нашем городе. Года три-четыре по смерти второй жены он отправился на юг России и под конец очутился в Одессе, где и прожил сряду несколько лет. Познакомился он сначала, по его собственным словам, «со многими жидами, жидками, жидишками и жиденятами», а кончил тем, что под конец даже не только у жидов, но «и у евреев был принят». Надо думать, что в этот-то период своей жизни он и развил в себе особенное умение сколачивать и выколачивать деньги. Воротился он снова в наш городок окончательно всего только года за три до приезда Алеши. Препные знакомые его нашли его страшно состарившимся, хотя был он вовсе еще не такой старик. Держал же он себя не то что благороднее, а как-то нахальнее. Явилась, например, наглая потребность в прежнем шуте — других в шуты рядить. Безобразничать с женским полом любил не то что по-прежнему, а даже как бы и отвратительнее. Вскорости он стал основателем по уезду многих новых кабаков. Видно было, что у него есть, может быть, тысяч до ста или разве немногим только менее. Многие из городских и из уездных обитателей тотчас же ему задолжали, под вернейшие залогов разумеется. В самое же последнее время он как-то обрюзг, как-то стал терять ровность, самоотчетность, впал даже в какое-то легкомыслие, начинал одно и кончал другим, как-то раскидывался и все чаще и чаще напивался пьян, и если бы не все тот же лакей Григорий, тоже порядочно к тому времени состарившийся и смотревший за ним иногда вроде почти гувернера, то, может быть, Федор Павлович и не прожил бы без особых хлопот. Приезд Алеши как бы подействовал на него даже с нравственной стороны, как бы что-то проснулось в этом безвременном старике из того, что давно уже заглохло в душе его. «Знаешь ли ты, — стал он часто говорить Алеше, приглядываясь к нему, — что ты на нее похож, на кликушу-то?» Так называл он свою покойную жену, мать Алеши. Могилку «кликуши» указал наконец Алеше лакей Григорий. Он свел его на наше городское кладбище и там, в дальнем уголке, указал ему чугунную недорогую, но опрятную плиту, на которой была даже надпись с именем, званием, летами и годом смерти покойницы, а внизу было даже начертано нечто вроде четырехстишия из старинных, общепотребительных на могилах среднего люда кладбищенских сти-

хов. К удивлению, эта плита оказалась делом Григория. Это он сам воздвиг ее над могилкой бедной «кликуши» и на собственное иждивение, после того когда Федор Павлович, которому он множество раз уже досаждал напоминаниями об этой могилке, уехал наконец в Одессу, махнув рукой не только на могилы, но и на все свои воспоминания. Алеша не выказал на могилке матери никакой особенной чувствительности; он только выслушал важный и резонный рассказ Григория о сооружении плиты, постоял понурившись и ушел, не вымолвив ни слова. С тех пор, может быть даже во весь год, и не бывал на кладбище. Но на Федора Павловича этот маленький эпизод тоже произвел свое действие, и очень оригинальное. Он вдруг взял тысячу рублей и свез ее в наш монастырь на помин души своей супруги, но не второй, не матери Алеши, не «кликуши», а первой, Аделаиды Ивановны, которая колотила его. Вечеру того дня он напился пьян и ругал Алеше монахов. Сам он был далеко не из религиозных людей; человек никогда, может быть, пятикопеечной свечки не поставил пред образом. Странные порывы внезапных чувств и внезапных мыслей бывают у таких субъектов.

Я уже говорил, что он очень обрюзг. Физиономия его представляла к тому времени что-то резко свидетельствовавшее о характеристике и сущности всей прожитой им жизни. Кроме длинных и мясистых мешочков под маленькими его глазами, вечно наглыми, подозрительными и насмешливыми, кроме множества глубоких морщинок на его маленьком, но жирненьком личике, к острому подбородку его подвешивался еще большой кадык, мясистый и продолговатый, как кошелек, что придавало ему какой-то отвратительно сладострастный вид. Прибавьте к тому плотоядный, длинный рот, с пухлыми губами, из-под которых виднелись маленькие обломки черных, почти истлевших зубов. Он брызгался слюной каждый раз, когда начинал говорить. Впрочем, и сам он любил шутить над своим лицом, хотя, кажется, оставался им доволен. Особенно указывал он на свой нос, не очень большой, но очень тонкий, с сильно выдающейся горбиной: «Настоящий римский, — говорил он, — вместе с кадыком настоящая физиономия древнего римского патриция времен упадка». Этим он, кажется, гордился.

И вот довольно скоро после обретения могилы матери Алеша вдруг объявил ему, что хочет поступить в монастырь и что монахи готовы допустить его послушником. Он объяснил при этом, что это

чрезвычайное желание его и что испрашивает он у него торжественное позволение как у отца. Старик уже знал, что старец Зосима, спасавшийся в монастырском ските, произвел на его «тихого мальчика» особенное впечатление.

— Этот старец, конечно, у них самый честный монах, — промолвил он, молчаливо и вдумчиво выслушав Алешу, почти совсем, однако, не удивившись его просьбе. — Гм, так ты вот куда хочешь, мой тихий мальчик! — Он был вполпьяна и вдруг улыбнулся своею длинною, полупьяною, но не лишнюю хитрости и пьяного лукавства улыбкою. — Гм, а ведь я так и предчувствовал, что ты чем-нибудь вот этаким кончишь, можешь это себе представить? Ты именно туда норовил. Ну что ж, пожалуй, у тебя же есть свои две тысконочки, вот тебе и приданое, а я тебя, мой ангел, никогда не оставляю, да и теперь внесу за тебя что там следует, если спросят. Ну, а если не спросят, к чему нам навязываться, не так ли? Ведь ты денег, что канарейка, тратишь, по два зернышка в недельку... Гм. Знаешь, в одном монастыре есть одна подгородная слободка, и уж всем там известно, что в ней одни только «монастырские жены» живут, так их там называют, штук тридцать жен, я думаю... Я там был, и, знаешь, интересно, в своем роде разумеется, в смысле разнообразия. Скверно тем только, что русизм ужасный, французенок совсем еще нет, а могли бы быть, средства знатные. Проведают — приедут. Ну, а здесь ничего, здесь нет монастырских жен, а монахов штук двести. Честно. Постники. Сознаюсь... Гм. Так ты к монахам хочешь? А ведь мне тебя жаль, Алеша, воистину, веришь ли, я тебя полюбил... Впрочем, вот и удобный случай: помолишься за нас, грешных, слишком мы уж, сидя здесь, нагрелись. Я все помышлял о том: кто это за меня когда-нибудь помолится? Есть ли в свете такой человек? Милый ты мальчик, я ведь на этот счет ужасно как глуп, ты, может быть, не веришь?

Ужасно. Видишь ли: я об этом, как ни глуп, а все думаю, все думаю, изредка, разумеется, не все же ведь. Ведь невозможно же, думаю, чтобы черти меня крючьями позабыли стащить к себе, когда я помру. Ну вот и думаю: крючья? А откуда они у них? Из чего? Железные? Где же их куют? Фабрика, что ли, у них какая там есть? Ведь там в монастыре иноки, наверно, полагают, что в аде, например, есть потолок. А я вот готов поверить в ад только чтобы без потолка; выходит оно как будто деликатнее, просвещеннее, по-лютерански то

есть. А в сущности ведь не все ли равно: с потолком или без потолка? Ведь вот вопрос-то проклятый в чем заключается! Ну, а коли нет потолка, стало быть, нет и крючьев. А коли нет крючьев, стало быть, и все побоку, значит, опять невероятно: кто же меня тогда крючьями-то потащит, потому что если уж меня не потащат, то что ж тогда будет, где же правда на свете? Il faudrait les inventer¹, эти крючья, для меня нарочно, для меня одного, потому что если бы ты знал, Алеша, какой я срамник!..

— Да, там нет крючьев, — тихо и серьезно, приглядываясь к отцу, выговорил Алеша.

— Так, так, одни только тени крючьев. Знаю, знаю. Это как один француз описывал ад: «J'ai vu l'ombre d'un cocher qui avec l'ombre d'une brosse frottait l'ombre d'une carrosse»². Ты, голубчик, почему знаешь, что нет крючьев? Побудешь у монахов, не то запоешь. А впрочем, ступай, доберись там до правды, да и приди рассказать: все же идти на тот свет будет легче, коли наверно знаешь, что там такое. Да и приличнее тебе будет у монахов, чем у меня, с пьяным старикашкой да с девчонками... хоть до тебя, как до ангела, ничего не коснется. Ну авось и там до тебя ничего не коснется, вот ведь я почему и дозволяю тебе, что на последнее надеюсь. Ум-то у тебя не черт съел. Погоризишь и погаснешь, вылечишься и назад придешь. А я тебя буду ждать: ведь я чувствую же, что ты единственный человек на земле, который меня не осудил, мальчик ты мой милый, я ведь чувствую же это, не могу же я это не чувствовать!..

И он даже расхныкался. Он был сентиментален. Он был зол и сентиментален.

V. Старцы

Может быть, кто из читателей подумает, что мой молодой человек был болезненная, экстазная, бедно развитая натура, бледный мечтатель, чахлый и испитой человек. Напротив, Алеша был в то время статный, краснощекий, со светлым взором, пышущий здоровьем девятнадцатилетний подросток. Он был в то время даже очень

¹ Их следовало бы выдумать (*франц.*).

² «Я видел тень кучера, которая тенью щетки чистила тень кареты» (*франц.*).

красив собою, строен, средневысокого роста, темно-рус, с правильным, хотя несколько удлинённым овалом лица, с блестящими темно-серыми широко расставленными глазами, весьма задумчивый и по-видимому весьма спокойный. Скажут, может быть, что красные щеки не мешают ни фанатизму, ни мистицизму; а мне так кажется, что Алеша был даже больше, чем кто-нибудь, реалистом. О, конечно, в монастыре он совершенно веровал в чудеса, но, по моему, чудеса реалиста никогда не смутят. Не чудеса склоняют реалиста к вере. Истинный реалист, если он не верующий, всегда найдет в себе силу и способность не поверить и чуду, а если чудо станет пред ним неотразимым фактом, то он скорее не поверит своим чувствам, чем допустит факт. Если же и допустит его, то допустит как факт естественный, но доселе лишь бывший ему неизвестным. В реалисте вера не от чуда рождается, а чудо от веры. Если реалист раз поверит, то он именно по реализму своему должен непременно допустить и чудо. Апостол Фома объявил, что не поверит, прежде чем не увидит, а когда увидел, сказал: «Господь мой и Бог мой!» Чудо ли заставило его уверовать? Вероятнее всего, что нет, а уверовал он лишь единственно потому, что желал уверовать и, может быть, уже веровал вполне, в тайнике существа своего, даже еще тогда, когда произносил: «Не поверю, пока не увижу».

Скажут, может быть, что Алеша был туп, неразвит, не кончил курса и проч. Что он не кончил курса, это была правда, но сказать, что он был туп или глуп, было бы большою несправедливостью. Просто повторю, что сказал уже выше: вступил он на эту дорогу потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему разом весь идеал исхода рвавшейся из мрака к свету души его. Прибавьте, что он был юноша отчасти уже нашего последнего времени, то есть честный по природе своей, требующий правды, ищущий ее и верующий в нее, а уверовав, требующий немедленного участия в ней всею силой души своей, требующий скорого подвига, с непременным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига, даже жизнью. Хотя, к несчастью, не понимают эти юноши, что жертва жизнью есть, может быть, самая легчайшая из всех жертв во множестве таких случаев и что пожертвовать, например, из своей кипучей юностью жизни пять-шесть лет на трудное, тяжелое учение, на науку, хотя бы для того только, чтобы удесятерить в себе силы для служения той же правде и тому же подвигу, который излю-

бил и который предложил себе совершить, — такая жертва сплошь да рядом для многих из них почти совсем не по силам. Алеша избрал лишь противоположную всем дорогу, но с тою же жадной скорой подвигом. Едва только он, задумавшись серьезно, поразился убеждением, что бессмертие и Бог существуют, то сейчас же, естественно, сказал себе: «Хочу жить для бессмертия, а половинного компромисса не принимаю». Точно так же если бы он порешил, что бессмертия и Бога нет, то сейчас бы пошел в атеисты и в социалисты (ибо социализм есть не только рабочий вопрос, или так называемого четвертого сословия, но по преимуществу есть атеистический вопрос, вопрос современного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся именно без Бога, не для достижения небес с земли, а для сведения небес на землю). Алеше казалось даже странным и невозможным жить по-прежнему. Сказано: «Раздай всё и иди за мной, если хочешь быть совершен». Алеша и сказал себе: «Не могу я отдать вместо «всего» два рубля, а вместо «иди за мной» ходить лишь к обедне». Из воспоминаний его младенчества, может быть, сохранилось нечто о нашем подгородном монастыре, куда могла возить его мать к обедне. Может быть, подействовали и косые лучи заходящего солнца пред образом, к которому его протягивала его кликуша-мать. Задумчивый он приехал к нам тогда, может быть, только лишь посмотреть: всё ли тут или и тут только два рубля, и — в монастыре встретил этого старца...

Старец этот, как я уже объяснил выше, был старец Зосима; но надо бы здесь сказать несколько слов и о том, что такое вообще «старцы» в наших монастырях, и вот жаль, что чувствую себя на этой дороге не довольно компетентным и твердым. Попробую, однако, сообщить малыми словами и в поверхностном изложении. И, во-первых, люди специальные и компетентные утверждают, что старцы и старчество появились у нас, по нашим русским монастырям, весьма лишь недавно, даже нет и ста лет, тогда как на всем православном Востоке, особенно на Синае и на Афоне, существуют далеко уже за тысячу лет. Утверждают, что существовало старчество и у нас на Руси во времена древнейшие или непременно должно было существовать, но вследствие бедствий России, татарщины, смут, перерыва прежних сношений с Востоком после покорения Константинополя установление это забылось у нас и старцы пресекались. Возрождено же оно у нас опять с конца прошлого столетия одним из великих подвиж-

ников (как называют его) Паисием Величковским и учениками его, но и доселе, даже через сто почти лет, существует весьма еще не во многих монастырях и даже подвергалось иногда почти что гонениям, как неслыханное по России новшество. В особенности процвело оно у нас на Руси в одной знаменитой пустыне, Козельской Оптиной. Когда и кем насадилось оно и в нашем подгородном монастыре, не могу сказать, но в нем уже считалось третье преемничество старцев, и старец Зосима был из них последним, но и он уже почти помирал от слабости и болезней, а заменить его даже и не знали кем. Вопрос для нашего монастыря был важный, так как монастырь наш ничем особенно не был до тех пор знаменит: в нем не было ни мощей святых угодников, ни явленных чудотворных икон, не было даже славных преданий, связанных с нашею историей, не числилось за ним исторических подвигов и заслуг отечеству. Процвел он и прославился на всю Россию именно из-за старцев, чтобы видеть и послушать которых стекались к нам богомольцы толпами со всей России из-за тысяч верст. Итак, что же такое старец? Старец — это берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и в свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание, с полным самоотрешением. Этот искус, эту страшную школу жизни обрекающий себя принимает добровольно в надежде после долгого искуса победить себя, овладеть собою до того, чтобы мог наконец достичь, чрез послушание всей жизни, уже совершенной свободы, то есть свободы от самого себя, избегнуть участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в себе не нашли. Изобретение это, то есть старчество, — не теоретическое, а выведено на Востоке из практики, в наше время уже тысячелетней. Обязанности к старцу не то что обыкновенное «послушание», всегда бывшее и в наших русских монастырях. Тут признается вечная исповедь всех подвижающихся старцу и неразрушимая связь между связавшим и связанным. Рассказывают, например, что однажды, в древнейшие времена христианства, один таковой послушник, не исполнив некоего послушания, возложенного на него его старцем, ушел от него из монастыря и пришел в другую страну, из Сирии в Египет. Там после долгих и великих подвигов сподобился наконец претерпеть истязания и мученическую смерть за веру. Когда же церковь хоронила тело его, уже чтя его как святого, то вдруг при возгласе диакона: «Оглашенные, изыдите!» — гроб с лежащим в нем телом мученика

сорвался с места и был извергнут из храма, и так до трех раз. И наконец лишь узнали, что этот святой страстотерпец нарушил послушание и ушел от своего старца, а потому без разрешения старца не мог быть и прощен, даже несмотря на свои великие подвиги. Но когда призванный старец разрешил его от послушания, тогда лишь могло совершиться и погребение его. Конечно, все это лишь древняя легенда, но вот и недавняя быль: один из наших современных иноков спасался на Афоне, и вдруг старец его повелел ему оставить Афон, который он излюбил как святыню, как тихое пристанище, до глубины души своей, и идти сначала в Иерусалим на поклонение святым местам, а потом обратно в Россию, на север, в Сибирь: «Там тебе место, а не здесь». Пораженный и убитый горем монах явился в Константинополь ко вселенскому патриарху и молил разрешить его послушание, и вот вселенский владыко ответил ему, что не только он, патриарх вселенский, не может разрешить его, но и на всей земле нет, да и не может быть такой власти, которая бы могла разрешить его от послушания, раз уже наложенного старцем, кроме лишь власти самого того старца, который наложил его. Таким образом, старчество одарено властью в известных случаях беспредельною и непостижимою. Вот почему во многих монастырях старчество у нас сначала встречено было почти гонением. Между тем старцев тотчас же стали высоко уважать в народе. К старцам нашего монастыря стекались, например, и простолюдины и самые знатные люди, с тем чтобы, повергаясь пред ними, исповедовать им свои сомнения, свои грехи, свои страдания и испросить совета и наставления. Видя это, противники старцев кричали, вместе с прочими обвинениями, что здесь самовластно и легкомысленно унижается таинство исповеди, хотя непрерывное исповедование своей души старцу послушником его или светским производится совсем не как таинство. Кончилось, однако, тем, что старчество удержалось и мало-помалу по русским монастырям водворяется. Правда, пожалуй, и то, что это испытанное и уже тысячелетнее орудие для нравственного перерождения человека от рабства к свободе и к нравственному совершенствованию может обратиться в обоюдоострое орудие, так что иного, пожалуй, приведет вместо смирения и окончательного самообладания, напротив, к самой сатанинской гордости, то есть к цепям, а не к свободе.

Старец Зосима был лет шестидесяти пяти, происходил из помещиков, когда-то в самой ранней юности был военным и служил

на Кавказе обер-офицером. Без сомнения, он поразил Алешу каким-нибудь особенным свойством души своей. Алеша жил в самой келье старца, который очень полюбил его и допустил к себе. Надо заметить, что Алеша, живя тогда в монастыре, был еще ничем не связан, мог выходить куда угодно хоть на целые дни, и если носил свой подрясник, то добровольно, чтобы ни от кого в монастыре не отличаться. Но уж конечно это ему и самому нравилось. Может быть, на юношеское воображение Алеши сильно подействовала эта сила и слава, которая окружала непрерывно его старца. Про старца Зосиму говорили многие, что он, допуская к себе столь многие годы всех приходивших к нему исповедовать сердце свое и жаждавших от него совета и врачебного слова, до того много принял в душу свою откровений, сокрушений, сознаний, что под конец приобрел прозорливость уже столь тонкую, что с первого взгляда на лицо незнакомого, приходившего к нему, мог угадывать: с чем тот пришел, чего тому нужно и даже какого рода мучение терзает его совесть, и удивляя, смущал и почти пугал иногда пришедшего таким знанием тайны его, прежде чем тот молвил слово. Но при этом Алеша почти всегда замечал, что многие, почти все, входившие в первый раз к старцу на уединенную беседу, входили в страхе и беспокойстве, а выходили от него почти всегда светлыми и радостными, и самое мрачное лицо обращалось в счастливое. Алешу необыкновенно поражало и то, что старец был вовсе не строг; напротив, был всегда почти весел в общении. Монахи про него говорили, что он именно привязывается душой к тому, кто грешнее, и, кто всех более грешен, того он всех более и возлюбит. Из монахов находились, даже и под самый конец жизни старца, ненавистники и завистники его, но их становилось уже мало, и они молчали, хотя было в их числе несколько весьма знаменитых и важных в монастыре лиц, как например один из древнейших иноков, великий молчальник и необычайный постник. Но все-таки огромное большинство держало уже несомненно сторону старца Зосимы, а из них очень многие даже любили его всем сердцем, горячо и искренно; некоторые же были привязаны к нему почти фанатически. Такие прямо говорили, не совсем, впрочем, вслух, что он святой, что в этом нет уже и сомнения, и, предвидя близкую кончину его, ожидали немедленных даже чудес и великой славы в самом ближайшем будущем от почившего монастырю. В чудесную силу старца верил беспрекословно и Алеша, точно так же, как бес-

прекословно верил и рассказу о вылетавшем из церкви гробе. Он видел, как многие из приходивших с больными детьми или взрослыми родственниками и моливших, чтобы старец возложил на них руки и прочитал над ними молитву, возвращались вскорости, а иные так и на другой же день, обратно и, падая со слезами пред старцем, благодарили его за исцеление их больных. Исцеление ли было в самом деле или только естественное улучшение в ходе болезни — для Алеши в этом вопроса не существовало, ибо он вполне уже верил в духовную силу своего учителя, и слава его была как бы собственным его торжеством. Особенно же дрожало у него сердце, и весь как бы сиял он, когда старец выходил к толпе ожидавших его выхода у врат скита богомольцев из простого народа, нарочно, чтобы видеть старца и благословиться у него, стекавшегося со всей России. Они повергались пред ним, плакали, целовали ноги его, целовали землю, на которой он стоит, вопили, бабы протягивали к нему детей своих, подводили больных кликуш. Старец говорил с ними, читал над ними краткую молитву, благословлял и отпускал их. В последнее время от припадков болезни он становился иногда так слаб, что едва бывал в силах выйти из кельи, и богомольцы ждали иногда в монастыре его выхода по нескольку дней. Для Алеши не составляло никакого вопроса, за что они его так любят, за что они повергаются пред ним и плачут от умиления, завидев лишь лицо его. О, он отлично понимал, что для смиренной души русского простолюдина, измученной трудом и горем, а главное, всегдашнею несправедливостью и всегдашним грехом, как своим, так и мировым, нет сильнее потребности и утешения, как обрести святыню или святого, пасть пред ним и поклониться ему: «Если у нас грех, неправда и искушение, то все равно есть на земле там-то, где-то святой и высший; у того зато правда, тот зато знает правду; значит, не умирает она на земле, а, стало быть, когда-нибудь и к нам перейдет и воцарится по всей земле, как обещано». Знал Алеша, что так именно и чувствует и даже рассуждает народ, он понимал это, но то, что старец именно и есть этот самый святой, этот хранитель Божьей правды в глазах народа, — в этом он не сомневался нисколько и сам вместе с этими плачущими мужиками и больными их бабами, протягивающими старцу детей своих. Убеждение же в том, что старец, почивши, доставит необычайную славу монастырю, царило в душе Алеши, может быть, даже сильнее, чем у кого бы то ни было в монастыре. И вообще все это последнее

время какой-то глубокий, пламенный внутренний восторг все сильнее и сильнее разгорался в его сердце. Не смущало его нисколько, что этот старец все-таки стоит пред ним единицей: «Все равно, он свят, в его сердце тайна обновления для всех, та мощь, которая установит наконец правду на земле, и будут все святы, и будут любить друг друга, и не будет ни богатых, ни бедных, ни возвышающихся, ни униженных, а будут все как дети Божии и наступит настоящее царство Христово». Вот о чем грезилось сердцу Алеши.

Кажется, что на Алешу произвел сильнейшее впечатление приезд его обоих братьев, которых он до того совершенно не знал. С братом Дмитрием Федоровичем он сошелся скорее и ближе, хотя тот приехал позже, чем с другим (единоутробным) братом своим, Иваном Федоровичем. Он ужасно интересовался узнать брата Ивана, но вот тот уже жил два месяца, а они хоть и виделись довольно часто, но все еще никак не сходились: Алеша был и сам молчалив и как бы ждал чего-то, как бы стыдился чего-то, а брат Иван, хотя Алеша и подметил вначале на себе его длинные и любопытные взгляды, кажется, вскоре перестал даже и думать о нем. Алеша заметил это с некоторым смущением. Он приписал равнодушие брата разнице в их летах и в особенности в образовании. Но думал Алеша и другое: столь малое любопытство и участие к нему, может быть, происходило у Ивана и от чего-нибудь совершенно Алеше неизвестного. Ему все казалось почему-то, что Иван чем-то занят, чем-то внутренним и важным, что он стремится к какой-то цели, может быть очень трудной, так что ему не до него, и что вот это и есть та единственная причина, почему он смотрит на Алешу рассеянно. Задумывался Алеша и о том: не было ли тут какого-нибудь презрения к нему, к глупенькому послушнику, от ученого атеиста. Он совершенно знал, что брат его атеист. Презрением этим, если оно и было, он обидеться не мог, но все-таки с каким-то непонятным себе самому и тревожным смущением ждал, когда брат захочет подойти к нему ближе. Брат Дмитрий Федорович отзывался о брате Иване с глубочайшим уважением, с каким-то особым проникновением говорил о нем. От него же узнал Алеша все подробности того важного дела, которое связало в последнее время обоих старших братьев замечательною и тесною связью. Восторженные отзывы Дмитрия о брате Иване были тем характернее в глазах Алеши, что брат Дмитрий был человек в сравнении с Иваном почти вовсе необразованный, и оба, поставленные

вместе один с другим, составляли, казалось, такую яркую противоположность как личности и характеры, что, может быть, нельзя бы было и придумать двух человек несходнее между собой.

Вот в это-то время и состоялось свидание, или, лучше сказать, семейная сходка, всех членов этого нестройного семейства в келье старца, имевшая чрезвычайное влияние на Алешу. Предлог к этой сходке, по-настоящему, был фальшивый. Тогда именно несогласия по наследству и по имущественным расчетам Дмитрия Федоровича с отцом его, Федором Павловичем, дошли, по-видимому, до невозможной точки. Отношения обострились и стали невыносимы. Федор Павлович, кажется, первый и, кажется, шутя подал мысль о том, чтобы сойтись всем в келье старца Зосимы и, хоть и не прибегая к прямому его посредничеству, все-таки как-нибудь сговориться приличнее, причем сан и лицо старца могли бы иметь нечто внушающее и примирительное. Дмитрий Федорович, никогда у старца не бывавший и даже не выдавший его, конечно, подумал, что старцем его хотят как бы испугать; но так как он и сам укорял себя втайне за многие особенно резкие выходки в споре с отцом за последнее время, то и принял вызов. Кстати заметить, что жил он не в доме отца, как Иван Федорович, а отдельно, в другом конце города. Тут случилось, что проживавший в это время у нас Петр Александрович Миусов особенно ухватился за эту идею Федора Павловича. Либерал сороковых и пятидесятих годов, вольнодумец и атеист, он, от скуки может быть, а может быть, для легкомысленной потехи, принял в этом деле чрезвычайное участие. Ему вдруг захотелось посмотреть на монастырь и на «святого». Так как все еще продолжались его давние споры с монастырем и все еще тянулась тяжба о поземельной границе их владений, о каких-то правах рубки в лесу и рыбной ловли в речке и проч., то он и поспешил этим воспользоваться под предлогом того, что сам желал бы сговориться с отцом игуменом: нельзя ли как-нибудь покончить их споры полюбовно? Посетителя с такими благими намерениями, конечно, могли принять в монастыре внимательнее и предупредительнее, чем просто любопытствующего. Вследствие всех сих соображений и могло устроиться некоторое внутреннее влияние в монастыре на больного старца, в последнее время почти совсем уже не покидавшего келью и отказывавшего по болезни даже обыкновенным посетителям. Кончилось тем, что ста-

рец дал согласие и день был назначен. «Кто меня поставил делить между ними?» — заявил он только с улыбкой Алеше.

Узнав о свидании, Алеша очень смутился. Если кто из этих тяжущихся и пререкающихся мог смотреть серьезно на этот съезд, то, без сомнения, один только брат Дмитрий; остальные же все придут из целей легкомысленных и для старца, может быть, оскорбительных — вот что понимал Алеша. Брат Иван и Миусов придут из любопытства, может быть самого грубого, а отец его, может быть, для какой-нибудь шутовской и актерской сцены. О, Алеша хоть и молчал, но довольно и глубоко знал уже своего отца. Повторяю, этот мальчик был вовсе не столь простодушным, каким все считали его. С тяжелым чувством дожидался он назначенного дня. Без сомнения, он очень заботился про себя, в сердце своем, о том, чтобы как-нибудь все эти семейные несогласия кончились. Тем не менее самая главная забота его была о старце: он трепетал за него, за славу его, боялся оскорблений ему, особенно тонких, вежливых насмешек Миусова и недомолвок свысока ученого Ивана, так это все представлялось ему. Он даже хотел рискнуть предупредить старца, сказать ему что-нибудь об этих могущих прибыть лицах, но подумал и промолчал. Передал только накануне назначенного дня чрез одного знакомого брату Дмитрию, что очень любит его и ждет от него исполнения обещанного. Дмитрий задумался, потому что ничего не мог припомнить, что бы такое ему обещал, ответил только письмом, что изо всех сил себя сдержит «пред низостью», и хотя глубоко уважает старца и брата Ивана, но убежден, что тут или какая-нибудь ему ловушка, или недостойная комедия. «Тем не менее скорее проглочу свой язык, чем манкирую уважением к святому мужу, тобою столь уважаемому», — закончил Дмитрий свое письмецо. Алешу оно не весьма ободрило.

КНИГА ВТОРАЯ

НЕУМЕСТНОЕ СОБРАНИЕ

І. Приехали в монастырь

Выдался прекрасный, теплый и ясный день. Был конец августа. Свидание со старцем условлено было сейчас после поздней обедни, примерно к половине двенадцатого. Наши посетители монастыря к обедне, однако, не пожаловали, а приехали ровно к шапочному разбору. Приехали они в двух экипажах; в первом экипаже, в щегольской коляске, запряженной парой дорогих лошадей, прибыл Петр Александрович Миусов со своим дальним родственником, очень молодым человеком, лет двадцати, Петром Фомичом Калгановым. Этот молодой человек готовился поступить в университет; Миусов же, у которого он почему-то пока жил, соблазнял его с собою за границу, в Цюрих или в Иену, чтобы там поступить в университет и окончить курс. Молодой человек еще не решился. Он был задумчив и как бы рассеян. Лицо его было приятное, сложение крепкое, рост довольно высокий. Во взгляде его случалась странная неподвижность: подобно всем очень рассеянными людям, он глядел на вас иногда в упор и подолгу, а между тем совсем вас не видел. Был он молчалив и несколько неловок, но бывало, — впрочем, не иначе как с кем-нибудь один на один, — что он вдруг станет ужасно разговорчив, порывист, смешлив, смеясь бог знает иногда чему. Но одушевление его столь же быстро и вдруг погасало, как быстро и вдруг нарождалось. Был он одет всегда хорошо и даже изысканно: он уже имел некоторое независимое состояние и ожидал еще гораздо большего. С Алешей был приятелем.

В весьма ветхой, дребезжащей, но поместительной извозчичьей коляске, на паре старых сиво-розовых лошадей, сильно отстававших от коляски Миусова, подъехали и Федор Павлович с сынком своим Иваном Федоровичем. Дмитрию Федоровичу еще накануне сообщен был и час и срок, но он запоздал. Посетители оставили экипа-

жи у ограды, в гостинице, и вошли в монастырские ворота пешком. Кроме Федора Павловича, остальные трое, кажется, никогда не видели никакого монастыря, а Миусов так лет тридцать, может быть, и в церкви не был. Он озирался с некоторым любопытством, не лишенным некоторой напущенной на себя развязности. Но для наблюдательного его ума, кроме церковных и хозяйственных построек, весьма, впрочем, обыкновенных, во внутренности монастыря ничего не представлялось. Проходил последний народ из церкви, снимая шапки и крестясь. Между простонародьем встречались и приезжие более высшего общества, две-три дамы, один очень старый генерал; все они стояли в гостинице. Нищие обступили наших посетителей тотчас же, но им никто ничего не дал. Только Петруша Калганов вынул из портмоне гривенник и, заторопившись и сконфузившись бог знает отчего, поскорее сунул одной бабе, быстро проговорив: «Разделить поровну». Никто ему на это ничего из его спутников не заметил, так что нечего было ему конфузиться; но, заметив это, он еще больше сконфузился.

Было, однако, странно; их по-настоящему должны бы были ждать и, может быть, с некоторым даже почетом: один недавно еще тысячу рублей пожертвовал, а другой был богатейшим помещиком и образованнейшим, так сказать, человеком, от которого все они тут отчасти зависели по поводу ловель рыбы в реке, вследствие оборота, какой мог принять процесс. И вот, однако ж, никто из официальных лиц их не встречает. Миусов рассеянно смотрел на могильные камни около церкви и хотел было заметить, что могилки эти, должно быть, обошлись дорогонько хоронившим за право хоронить в таком «святом» месте, но промолчал: простая либеральная ирония перерождалась в нем почти что уж в гнев.

— Черт, у кого здесь, однако, спросить, в этой бестолковщине... Это нужно бы решить, потому что время уходит, — промолвил он вдруг, как бы говоря про себя.

Вдруг подошел к ним один пожилой лысоватый господин в широком летнем пальто и с сладкими глазками. Приподняв шляпу, медово присюсюкивая, отрекомендовался он всем вообще тульским помещиком Максимовым. Он мигом вошел в заботу наших путников.

— Старец Зосима живет в скиту, в скиту наглухо, шагов четырехста от монастыря, через лесок, через лесок...

— Это и я знаю-с, что через лесок, — ответил ему Федор Павлович, — да дорогу-то мы не совсем помним, давно не бывали.

— А вот в эти врата, и прямо леском... леском. Пойдемте. Не угодно ли... мне самому... я сам... Вот сюда, сюда...

Они вышли из врат и направились лесом. Помещик Максимов, человек лет шестидесяти, не то что шел, а лучше сказать, почти бежал сбоку, рассматривая их всех с судорожным, невозможным почти любопытством. В глазах его было что-то лупоглазое.

— Видите ли, мы к этому старцу по своему делу, — заметил строго Миусов, — мы, так сказать, получили аудиенцию «у сего лица», а потому хоть и благодарны вам за дорогу, но вас уж не попросим входить вместе.

— Я был, был, я уже был... Un chevalier parfait!¹ — и помещик пустил на воздух щелчок пальцем.

— Кто это chevalier?² — спросил Миусов.

— Старец, великолепный старец, старец... Честь и слава монастыря. Зосима. Это такой старец...

Но беспорядочную речь его перебил догнавший путников монашек, в клобуке, невысокого росту, очень бледный и испитой. Федор Павлович и Миусов остановились. Монах с чрезвычайно вежливым, почти поясным поклоном произнес:

— Отец игумен, после посещения вашего в ските, покорнейше просит вас всех, господа, у него откушать. У него в час, не позже. И вас также, — обратился он к Максиму.

— Это я непременно исполню! — вскричал Федор Павлович, ужасно обрадовавшись приглашению, — непременно. И знаете, мы все дали слово вести себя здесь порядочно... А вы, Петр Александрович, пожалуйте?

— Да еще же бы нет? Да я зачем же сюда и приехал, как не видеть все их здешние обычаи. Я одним только затрудняюсь, именно тем, что я теперь с вами, Федор Павлович...

— Да, Дмитрия Федоровича еще не существует.

— Да и отлично бы было, если б он манкировал, мне приятно, что ли, вся эта ваша мазня, да еще с вами на придачу? Так к обеду будем, благодарите отца игумена, — обратился он к монашку.

¹ Рыцарь — и притом совершенный! (*франц.*)

² Рыцарь? (*франц.*)

— Нет, уж я вас обязан руководить к самому старцу, — ответил монах.

— А я, коль так, к отцу игумену, я тем временем прямо к отцу игумену, — защebetал помещик Максимов.

— Отец игумен в настоящий час занят, но как вам будет угодно... — нерешительно произнес монах.

— Преназойливый старичишка, — заметил вслух Миусов, когда помещик Максимов побежал обратно к монастырю.

— На фон Зона похож, — проговорил вдруг Федор Павлович.

— Вы только это и знаете... С чего он похож на фон Зона? Вы сами-то видели фон Зона?

— Его карточку видел. Хоть не чертами лица, так чем-то неизъяснимым. Чистейший второй экземпляр фон Зона. Я это всегда по одной только физиономии узнаю.

— А пожалуй; вы в этом знаток. Только вот что, Федор Павлович, вы сами сейчас изволили упомянуть, что мы дали слово вести себя прилично, помните. Говорю вам, удержитесь. А начнете шута из себя строить, так я не намерен, чтобы меня с вами на одну доску здесь поставили... Видите, какой человек, — обратился он к монаху, — я вот с ним боюсь входить к порядочным людям.

На бледных, бескровных губах монашка показалась тонкая, молчаливая улыбочка, не без хитрости в своем роде, но он ничего не ответил, и слишком ясно было, что промолчал из чувства собственного достоинства. Миусов еще больше наморщился.

«О, черт их всех дери, веками лишь выработанная наружность, а в сущности шарлатанство и вздор!» — пронеслось у него в голове.

— Вот и скит, дошли! — крикнул Федор Павлович, — ограда и ворота запертые.

И он пустился класть большие кресты пред святыми, написанными над воротами и сбоку врат.

— В чужой монастырь со своим уставом не ходят, — заметил он. — Всех здесь в скиту двадцать пять святых спасаются, друг на друга смотрят и капусту едят. И ни одной-то женщины в эти ворота не войдет, вот что особенно замечательно. И это ведь действительно так. Только как же я слышал, что старец дам принимает? — обратился он вдруг к монашку.

— Из простонародья женский пол и теперь тут, вон там, лежат у галерейки, ждут. А для высших дамских лиц пристроены здесь же

на галерее, но вне ограды, две комнатки, вот эти самые окна, и старец выходит к ним внутренним ходом, когда здоров, то есть все же за ограду. Вот и теперь одна барыня, помещица харьковская, госпожа Хохлакова, дожидается со своею расслабленною дочерью. Вероятно, обещал к ним выйти, хотя в последние времена столь расслабел, что и к народу едва появляется.

— Значит, все же лазеечка к барыням-то из скита проведена. Не подумайте, отец святой, что я что-нибудь, я только так. Знаете, на Афоне, это вы слышали ль, не только посещения женщин не полагается, но и совсем не полагается женщин и никаких даже существ женского рода, курочек, индюшечек, телушечек...

— Федор Павлович, я ворочусь и вас брошу здесь одного, и вас без меня отсюда выведут за руки, это я вам предрекаю.

— А чем я вам мешаю, Петр Александрович. Посмотрите-ка, — вскричал он вдруг, шагнув за ограду скита, — посмотрите, в какой они долине роз проживают!

Действительно, хоть роз теперь и не было, но было множество редких и прекрасных осенних цветов везде, где только можно было их насадить. Лелеяла их, видимо, опытная рука. Цветники устроены были в оградах церквей и между могил. Домик, в котором находилась келья старца, деревянный, одноэтажный, с галереей пред входом, был тоже обсажен цветами.

— А было ль это при предыдущем старце, Варсонофии? Тот изящности-то, говорят, не любил, вскакивал и бил палкой даже дамский пол, — заметил Федор Павлович, подымаясь на крылечко.

— Старец Варсофоний действительно казался иногда как бы юродивым, но много рассказывают и глупостей. Палкой же никогда и никого не бивал, — ответил монашек. — Теперь, господа, минутку повремените, я о вас повешу.

— Федор Павлович, в последний раз условие, слышите. Ведите себя хорошо, не то я вам отплачу, — успел еще раз пробормотать Миусов.

— Совсем неизвестно, с чего вы в таком великом волнении, — насмешливо заметил Федор Павлович, — али грешков боитесь? Ведь он, говорят, по глазам узнает, кто с чем приходит. Да и как высоко цените вы их мнение, вы, такой парижанин и передовой господин, удивили вы меня даже, вот что!

Но Миусов не успел ответить на этот сарказм, их попросили войти. Вошел он несколько раздраженный...

«Ну, теперь заранее себя знаю, раздражен, заспору... начну горячиться — и себя и идею унижу», — мелькнуло у него в голове.

II. Старый шут

Они вступили в комнату почти одновременно со старцем, который при появлении их тотчас показался из своей спаленки. В келье еще раньше их дожидались выхода старца два скитские иеромонаха, один — отец библиотечарь, а другой — отец Паисий, человек больной, хотя и не старый, но очень, как говорили про него, ученый. Кроме того, ожидал, стоя в уголку (и все время потом оставался стоя), молодой паренек, лет двадцати двух на вид, в статском сюртуке, семинарист и будущий богослов, покровительствуемый почему-то монастырем и братиею. Он был довольно высокого роста, со свежим лицом, с широкими скулами, с умными и внимательными узенькими карими глазами. В лице выражалась совершенная почтительность, но приличная, без видимого заискивания. Вошедших гостей он даже и не приветствовал поклоном, как лицо им не равное, а, напротив, подведомственное и зависимое.

Старец Зосима вышел в сопровождении послушника и Алеши. Иеромонахи поднялись и приветствовали его глубочайшим поклоном, пальцами касаясь земли, затем, благословившись, поцеловали руку его. Благословив их, старец ответил им каждому столь же глубоким поклоном, перстами касаясь земли, и у каждого из них попросил и для себя благословения. Вся церемония произошла весьма серьезно, вовсе не как вседневный обряд какой-нибудь, а почти с каким-то чувством. Миусову, однако, показалось, что все делается с намеренным внушением. Он стоял впереди всех вошедших с ним товарищей. Следовало бы, — и он даже обдумывал это еще вчера вечером, — несмотря ни на какие идеи, единственно из простой вежливости (так как уж здесь такие обычаи), подойти и благословиться у старца, по крайней мере хоть благословиться, если уж не целовать руку. Но, увидя теперь все эти поклоны и лобызания иеромонахов, он в одну секунду переменял решение: важно и серьезно отдал он

довольно глубокий, по-светскому, поклон и отошел к стулу. Точно так же поступил и Федор Павлович, на этот раз как обезьяна совершенно передразнив Миусова. Иван Федорович раскланялся очень важно и вежливо, но тоже держа руки по швам, а Калганов до того сконфузился, что и совсем не поклонился. Старец опустил поднявшуюся было для благословения руку и, поклонившись им в другой раз, попросил всех садиться. Кровь залила щеки Алеши; ему стало стыдно. Сбывались его дурные предчувствия.

Старец уселся на кожаный красного дерева диванчик, очень старинной постройки, а гостей, кроме обоих иеромонахов, поместил у противоположной стены, всех четверых рядышком, на четырех красного дерева обитых черною сильно протершеюся кожей стульях. Иеромонахи уселись по сторонам, один у дверей, другой у окна. Семинарист, Алеша и послушник оставались стоя. Вся келья была очень необширна и какого-то вялого вида. Вещи и мебель были грубые, бедные и самые лишь необходимые. Два горшка цветов на окне, а в углу много икон — одна из них Богородицы, огромного размера и писанная, вероятно, еще задолго до раскола. Пред ней теплилась лампадка. Около нее две другие иконы в сияющих ризах, затем около них деланные херувимчики, фарфоровые яички, католический крест из слоновой кости с обнимающею его Mater dolorosa¹ и несколько заграничных гравюр с великих итальянских художников прошлых столетий. Подле этих изящных и дорогих гравюрных изображений красовалось несколько листов самых простонароднейших русских литографий святых, мучеников, святителей и проч., продающихся за копейки на всех ярмарках. Было несколько литографических портретов русских современных и прежних архиереев, но уже по другим стенам. Миусов бегло окинул всю эту «казенщину» и пристальным взглядом уперся в старца. Он уважал свой взгляд, имел эту слабость, во всяком случае в нем простительную, приняв в соображение, что было ему уже пятьдесят лет — возраст, в который умный светский и обеспеченный человек всегда становится к себе почтительнее, иногда даже поневоле.

С первого мгновения старец ему не понравился. В самом деле, было что-то в лице старца, что многим бы, и кроме Миусова, не понравилось. Это был невысокий сторбленный человечек с очень сла-

¹ Скорбящей Богоматерью (лат.).

быми ногами, всего только шестидесяти пяти лет, но казавшийся от болезни гораздо старше, по крайней мере лет на десять. Все лицо его, впрочем очень сухенькое, было усеяно мелкими морщинками, особенно было много их около глаз. Глаза же были небольшие, из светлых, быстрые и блестящие, вроде как бы две блестящие точки. Седенькие волосики сохранились лишь на висках, борода была крошечная и реденькая, клином, а губы, часто усмежавшиеся, — тоненькие, как две бечевочки. Нос не то чтобы длинный, а востренький, точно у птички.

«По всем признакам злобная и мелко-надменная душонка», — пролетело в голове Миусова. Вообще он был очень недоволен собой.

Пробившие часы помогли начать разговор. Ударило скорым боем на дешевых маленьких стенных часах с гириями ровно двенадцать.

— Ровнешенько настоящий час, — вскричал Федор Павлович, — а сына моего Дмитрия Федоровича все еще нет. Извиняюсь за него, священный старец! (Алеша весь так и вздрогнул от «священного старца».) Сам же я всегда аккуратен, минута в минуту, помня, что точность есть вежливость королей...

— Но ведь вы по крайней мере не король, — пробормотал, сразу не удержавшись, Миусов.

— Да, это так, не король. И представьте, Петр Александрович, ведь это я и сам знал, ей-богу! И вот всегда-то я так некстати скажу! Ваше преподабие! — воскликнул он с каким-то мгновенным пафосом. — Вы видите пред собою шута, шута воистину! Так и рекомендую. Старая привычка, увы! А что некстати иногда вру, так это даже с намерением, с намерением рассмешить и приятным быть. Надобно же быть приятным, не правда ли? Приезжаю лет семь назад в один городишко, были там делишки, а я кой с какими купчишками завязал было компаньишку. Идем к исправнику, потому что его надо было кой о чем попросить и откусать к нам позвать. Выходит исправник, высокий, толстый, белокурый и угрюмый человек, — самые опасные в таких случаях субъекты: печень у них, печень. Я к нему прямо, и знаете, с развязностью светского человека: «Господин исправник, будьте, говорю, нашим, так сказать, Направником!» — «Каким это, говорит, Направником?» Я уж вижу с первой полсекунды, что дело не выгорело, стоит серьезный, уперся: «Я, говорю, пошутить желал, для общей веселости, так как господин Направник известный наш русский капельмейстер, а нам именно нужно для гармонии нашего

предприятия вроде как бы тоже капельмейстера...» И резонно ведь разъяснил и сравнил, не правда ли? «Извините, говорит, я исправник и каламбуров из звания моего строить не позволю». Повернулся и уходит. Я за ним, кричу: «Да, да, вы исправник, а не Направник!» — «Нет, говорит, уж коль сказано, так, значит, я Направник». И представьте, ведь дело-то наше расстроилось! И все-то я так, всегда-то я так. Непременно-то я своею же любезностью себе наврежу! Раз, много лет уже тому назад, говорю одному влиятельному даже лицу: «Ваша супруга щекотливая женщина-с», — в смысле то есть чести, так сказать нравственных качеств, а он мне вдруг на то: «А вы ее щекотали?» Не удержался, вдруг, дай, думаю, полюбезничаю: «Да, говорю, щекотал-с» — ну тут он меня и пощекотал... Только давно уж это произошло, так что уж не стыдно и рассказать; вечно-то я так себе наврежу!

— Вы это и теперь делаете, — с отвращением пробормотал Миусов.

Старец молча разглядывал того и другого.

— Будто! Представьте, ведь я и это знал, Петр Александрович, и даже, знаете, предчувствовал, что делаю, только что стал говорить, и даже, знаете, предчувствовал, что вы мне первый это и заметите. В эти секунды, когда вижу, что шутка у меня не выходит, у меня, ваше преподобие, обе щеки к нижним деснам присыхать начинают, почти как бы судорога делается; это у меня еще с юности, как я был у дворян приживальщиком и приживанием хлеб добывал. Я шут коренной, с рождения, все равно, ваше преподобие, что юродивый; не спорю, что и дух нечистый, может, во мне заключается, небольшого, впрочем, калибра, поважнее-то другую бы квартиру выбрал, только не вашу, Петр Александрович, и вы ведь квартира неважная. Но зато я верую, в Бога верую. Я только в последнее время усумнился, но зато теперь сижу и жду великих словес. Я, ваше преподобие, как философ Дидерот. Известно ли вам, святейший отец, как Дидерот-философ явился к митрополиту Платону при императрице Екатерине. Входит и прямо сразу: «Нет Бога». На что великий святитель подымает перст и отвечает: «Рече безумец в сердце своем несть Бог!» Тот как был, так и в ноги: «Верую, кричит, и крещение принимаю». Так его и окрестили тут же. Княгиня Дашкова была восприемницей, а Потемкин крестным отцом...

— Федор Павлович, это несносно! Ведь вы сами знаете, что вы врете и что этот глупый анекдот неправда, к чему вы ломаетесь? — дрожащим голосом проговорил, совершенно уже не сдерживая себя, Миусов.

— Всю жизнь предчувствовал, что неправда! — с увлечением воскликнул Федор Павлович. — Я вам, господа, зато всю правду скажу: старец великий! простите, я последнее, о крещении-то Дидерота, сам сейчас присочинил, вот сию только минуточку, вот как рассказывал, а прежде никогда и в голову не приходило. Для пикантности присочинил. Для того и ломаюсь, Петр Александрович, чтобы милее быть. А впрочем, и сам не знаю иногда для чего. А что до Дидерота, так я этого «рече безумца» раз двадцать от здешних же помещиков еще в молодых годах моих слышал, как у них проживал; от вашей тетеньки, Петр Александрович, Мавры Фоминишны тоже, между прочим, слышал. Все-то они до сих пор уверены, что безбожник Дидерот к митрополиту Платону спорить о Боге приходил...

Миусов встал, не только потеряв терпение, но даже как бы забывшись. Он был в бешенстве и сознавал, что от этого сам смешон. Действительно, в келье происходило нечто совсем невозможное. В этой самой келье, может быть уже сорок или пятьдесят лет, еще при прежних старцах, собирались посетители, всегда с глубочайшим благоговением, не иначе. Все почти допускаемые, входя в келью, понимали, что им оказывают тем великую милость. Многие повергались на колени и не вставали с колен во все время посещения. Многие из «высших» даже лиц и даже из ученыхших, мало того, некоторые из вольнодумных даже лиц, приходившие или по любопытству, или по иному поводу, входя в келью со всеми или получая свидание наедине, ставили себе в первейшую обязанность, все до единого, глубочайшую почтительность и деликатность во все время свидания, тем более что здесь денег не полагалось, а была лишь любовь и милость с одной стороны, а с другой — покаяние и жажда разрешить какой-нибудь трудный вопрос души или трудный момент в жизни собственного сердца. Так что вдруг такое шутовство, которое обнаружил Федор Павлович, непочтительное к месту, в котором он находился, произвело в свидетелях, по крайней мере в некоторых из них, недоумение и удивление. Иеромонахи, впрочем, нисколько не изменившие своих физиономий, с серьезным вниманием следили, что скажет старец, но, кажется, готовились уже встать, как Миусов.

Алеша готов был заплакать и стоял, понутив голову. Всего страннее казалось ему то, что брат его, Иван Федорович, единственно на которого он надеялся и который один имел такое влияние на отца, что мог бы его остановить, сидел теперь совсем неподвижно на своем стуле, опустив глаза, и по-видимому с каким-то даже любознательным любопытством ожидал, чем это все кончится, точно сам он был совершенно тут посторонний человек. На Ракитина (семинариста), тоже Алеше очень знакомого и почти близкого, Алеша и взглянуть не мог: он знал его мысли (хотя знал их один Алеша во всем монастыре).

— Простите меня... — начал Миусов, обращаясь к старцу, — что я, может быть, тоже кажусь вам участником в этой недостойной шутке. Ошибка моя в том, что я поверил, что даже и такой, как Федор Павлович, при посещении столь почтенного лица захочет понять свои обязанности... Я не сообразил, что придется просить извинения именно за то, что с ним входишь...

Петр Александрович не договорил и, совсем сконфузившись, хотел было уже выйти из комнаты.

— Не беспокойтесь, прошу вас, — привстал вдруг с своего места на свои хилые ноги старец и, взяв за обе руки Петра Александровича, усадил его опять в кресла. — Будьте спокойны, прошу вас. Я особенно прошу вас быть моим гостем, — и с поклоном, повернувшись, сел опять на свой диванчик.

— Великий старец, изреките, оскорбляю я вас моею живостью или нет? — вскричал вдруг Федор Павлович, схватившись обеими руками за ручки кресел и как бы готовясь из них выпрыгнуть сообразно с ответом.

— Убедительно и вас прошу не беспокоиться и не стесняться, — внушительно проговорил ему старец... — Не стесняйтесь, будьте совершенно как дома. А главное, не стыдитесь столь самого себя, ибо от сего лишь все и выходит.

— Совершенно как дома? То есть в натуральном-то виде? О, этого много, слишком много, но — с умилением принимаю! Знаете, благословенный отец, вы меня на натуральный-то вид не вызывайте, не рискуйте... до натурального вида я и сам не дойду. Это я, чтобы вас охранить, предупреждаю. Ну-с, а прочее все еще подвержено мраку неизвестности, хотя бы некоторые и желали расписать меня. Это я по вашему адресу, Петр Александрович, говорю, а вам, свя-

тейшее существо, вот что вам: восторг изливаю! — Он привстал и, подняв вверх руки, произнес: — Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие, — сосцы особенно! Вы меня сейчас замечанием вашим: «Не стыдиться столь самого себя, потому что от сего лишь все и выходит», — вы меня замечанием этим как бы насквозь прочкнули и внутри прочли. Именно мне все так и кажется, когда я к людям вхожу, что я подлее всех и что меня все за шута принимают, так вот «давай же я и в самом деле сыграю шута, не боюсь ваших мнений, потому что все вы до единого подлее меня!» Вот потому я и шут, от стыда шут, старец великий, от стыда. От мнительности одной и буяню. Ведь если б я только был уверен, когда вхожу, что все меня за милейшего и умнейшего человека сейчас же примут, — Господи! какой бы я тогда был добрый человек! Учитель! — повергся он вдруг на колени, — что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? — Трудно было и теперь решить: шутит он или в самом деле в таком умилении?

Старец поднял на него глаза и с улыбкой произнес:

— Сами давно знаете, что надо делать, ума в вас довольно: не предавайтесь пьянству и словесному невозддержанию, не предавайтесь сладострастию, а особенно обожанию денег, да закройте ваши питьевые дома, если не можете всех, то хоть два или три. А главное, самое главное — не лгите.

— То есть это про Дидерота, что ли?

— Нет, не то что про Дидерота. Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе и к другим. Не уважая же никого, перестает любить, а чтобы, не имея любви, занять себя и развлечь, предается страстям и грубым сладостям и доходит совсем до скотства в пороках своих, а все от непрерывной лжи и людям и себе самому. Лгущий себе самому прежде всех и обидеться может. Ведь обидеться иногда очень приятно, не так ли? И ведь знает человек, что никто не обидел его, а что он сам себе обиду навывдумал и нагнал для красоты, сам преувеличил, чтобы картину создать, к слову привязался и из горошинки сделал гору, — знает сам это, а все-таки самый первый обижается, обижается до приятности, до ощущения большого удовольствия, а тем самым доходит и до вражды истинной...

Да встаньте же, сядьте, прошу вас очень, ведь все это тоже ложные жесты...

— Блаженный человек! Дайте ручку поцеловать, — подскочил Федор Павлович и быстро чмокнул старца в худенькую его руку. — Именно, именно приятно обидеться. Это вы так хорошо сказали, что я и не слышал еще. Именно, именно я-то всю жизнь и обижался до приятности, для эстетики обижался, ибо не токмо приятно, но и красиво иной раз обиженным быть; вот что вы забыли, великий старец: красиво! Это я в книжку запишу! А ггал я, лгал, решительно всю жизнь мою, на всяк день и час. Воистину ложь есмь и отец лжи! Впрочем, кажется, не отец лжи, это я все в текстах сбиваюсь, ну хоть сын лжи, и того будет довольно. Только... ангел вы мой... про Дидерота иногда можно! Дидерот не повредит, а вот иное словцо повредит. Старец великий, кстати, вот было забыл, а ведь так и положил, еще с третьего года, здесь справиться, именно заехать сюда и настоятельно разузнать и спросить: не прикажите только Петру Александровичу прерывать. Вот что спрошу: справедливо ли, отец великий, то, что в Четьи-Минеи повествуется где-то о каком-то святом чудотворце, которого мучили за веру, и когда отрубили ему под конец голову, то он встал, поднял свою голову и «любезно ее лобызаше», и долго шел, неся ее в руках, и «любезно ее лобызаше». Справедливо это или нет, отцы честные?

— Нет, несправедливо, — сказал старец.

— Ничего подобного во всех Четьих-Минях не существует. Про какого это святого, вы говорите, так написано? — спросил иеромонах, отец библиотекарь.

— Сам не знаю про какого. Не знаю и не ведаю. Введен в обман, говорили. Слышал, и знаете, кто рассказал? А вот Петр Александрович Миусов, вот что за Дидерота сейчас рассердился, вот он-то и рассказал.

— Никогда я вам этого не рассказывал, я с вами и не говорю никогда вовсе.

— Правда, вы не мне рассказывали; но вы рассказывали в компании, где и я находился, четвертого года это дело было. Я потому и упомянул, что рассказом сим смешливым вы потрясли мою веру, Петр Александрович. Вы не знали о сем, не ведали, а я воротился домой с потрясенною верой и с тех пор все более и более сотрясаюсь.

Да, Петр Александрович, вы великого падения были причиной! Это уж не Дидерот-с!

Федор Павлович патетически разгорячился, хотя и совершенно ясно было уже всем, что он опять представляется. Но Миусов все-таки был больно уязвлен.

— Какой вздор, и все это вздор, — бормотал он. — Я действительно, может быть, говорил когда-то... только не вам. Мне самому говорили. Я это в Париже слышал, от одного француза, что будто бы у нас в Четьи-Минеи это за обедней читают... Это очень ученый человек, который специально изучал статистику России... долго жил в России... Я сам Четьи-Минеи не читал... да и не стану читать... Мало ли что болтается за обедом?.. Мы тогда обедали...

— Да, вот вы тогда обедали, а я вот веру-то и потерял! — поддразнивал Федор Павлович.

— Какое мне дело до вашей веры! — крикнул было Миусов, но вдруг сдержал себя, с презрением проговорив: — Вы буквально мараете все, к чему ни прикоснетесь.

Старец вдруг поднялся с места:

— Простите, господа, что оставляю вас пока на несколько лишь минут, — проговорил он, обращаясь ко всем посетителям, — но меня ждут еще раньше вашего прибывшие. А вы все-таки не лгите, — прибавил он, обратившись к Федору Павловичу с веселым лицом.

Он пошел из кельи, Алеша и послушник бросились, чтобы свети его с лестницы. Алеша задыхался, он рад был уйти, но рад был и тому, что старец не обижен и весел. Старец направился к галерее, чтобы благословить ожидавших его. Но Федор Павлович все-таки остановил его в дверях кельи.

— Блаженнейший человек! — вскричал он с чувством, — позвольте мне еще раз вашу ручку облобызать! Нет, с вами еще можно говорить, можно жить! Вы думаете, что я всегда так лгу и шутов изображаю? Знайте же, что это я все время нарочно, чтобы вас испробовать, так представлялся. Это я все время вас ощупывал, можно ли с вами жить? Моему-то смирению есть ли при вашей гордости место? Лист вам похвальный выдаю: можно с вами жить! А теперь молчу, на все время умолкаю. Сяду в кресло и замолчу. Теперь вам, Петр Александрович, говорить, вы теперь самый главный человек остались... на десять минут.

III. Верующие бабы

Внизу у деревянной галерейки, приделанной к наружной стене ограды, толпились на этот раз всё женщины, баб около двадцати. Их уведомили, что старец наконец выйдет, и они собрались в ожидании. Вышли на галерейку и помещицы Хохлаковы, тоже ожидавшие старца, но в отведенном для благородных посетительниц помещении. Их было две: мать и дочь. Госпожа Хохлакова-мать, дама богатая и всегда со вкусом одетая, была еще довольно молодая и очень миловидная собою особа, немного бледная, с очень оживленными и почти совсем черными глазами. Ей было не более тридцати трех лет, и она уже лет пять как была вдовой. Четырнадцатилетняя дочь ее страдала параличом ног. Бедная девочка не могла ходить уже с полгода, и ее возили в длинном покойном кресле на колесах. Это было прелестное личико, немного худенькое от болезни, но веселое. Что-то шаловливое светилось в ее темных больших глазах с длинными ресницами. Мать еще с весны собиралась ее везти за границу, но летом опоздали за устройством по имению. Они уже с неделю как жили в нашем городе, больше по делам, чем для богомолья, но уже раз, три дня тому назад, посещали старца. Теперь они приехали вдруг опять, хотя и знали, что старец почти уже не может вовсе никого принимать, и, настоятельно умоляя, просили еще раз «счастья узреть великого исцелителя».

В ожидании выхода старца мамаша сидела на стуле, подле кресел дочери, а в двух шагах от нее стоял старик монах, не из здешнего монастыря, а захожий из одной дальней северной малоизвестной обители. Он тоже желал благословиться у старца. Но показавшийся на галерее старец прошел сначала прямо к народу. Толпа затеснилась к крылечку о трех ступеньках, соединявшему низенькую галерейку с полем. Старец стал на верхней ступеньке, надел епитрахиль и начал благословлять теснившихся к нему женщин. Притянули к нему одну кликушу за обе руки. Та, едва лишь завидела старца, вдруг начала, как-то нелепо взвизгивая, икать и вся затряслась, как в родимце. Наложив ей на голову епитрахиль, старец прочел над нею краткую молитву, и она тотчас затихла и успокоилась. Не знаю, как теперь, но в детстве моем мне часто случалось в деревнях и по монастырям видеть и слышать этих кликуш. Их приводили к обедне, они визжали

или лаяли по-собачьи на всю церковь, но, когда выносили дары и их подводили к дарам, тотчас «беснование» прекращалось и больные на несколько времени всегда успокоивались. Меня, ребенка, очень это поражало и удивляло. Но тогда же я услышал от иных помещиков и особенно от городских учителей моих, на мои расспросы, что это все притворство, чтобы не работать, и что это всегда можно искоренить надлежащею строгостью, причем приводились для подтверждения разные анекдоты. Но впоследствии я с удивлением узнал от специалистов-медиков, что тут никакого нет притворства, что это страшная женская болезнь, и кажется, по преимуществу у нас на Руси, свидетельствующая о тяжелой судьбе нашей сельской женщины, болезнь, происходящая от изнурительных работ слишком вскоре после тяжелых, неправильных, безо всякой медицинской помощи родов; кроме того, от безвыходного горя, от побоев и проч., чего иные женские натуры выносить по общему примеру все-таки не могут. Странное же и мгновенное исцеление беснующейся и бьющейся женщины, только лишь, бывало, ее подведут к дарам, которое объясняли мне притворством и сверх того фокусом, устраиваемым чуть ли не самими «клерикалами», происходило, вероятно, тоже самым натуральным образом, и подводившие ее к дарам бабы, а главное, и сама больная, вполне веровали, как установившейся истине, что нечистый дух, овладевший больною, никогда не может вынести, если ее, больную, подведя к дарам, наклонят пред ними. А потому и всегда происходило (и должно было происходить) в нервной и, конечно, тоже психически больной женщине непременно как бы сотрясение всего организма ее в момент преклонения пред дарами, сотрясение, вызванное ожиданием непременно чуда исцеления и самую полную верой в то, что оно совершится. И оно совершалось хотя бы только на одну минуту. Точно так же оно и теперь совершилось, едва лишь старец накрыл больную епитрахилью.

Многие из теснившихся к нему женщин заливались слезами умиления и восторга, вызванного эффектом минуты; другие рвались облобызать хоть край одежды его, иные что-то причитали. Он благословлял всех, а с иными разговаривал. Кликушу он уже знал, ее привели не издалека, из деревни всего верст за шесть от монастыря, да и прежде ее водили к нему.

— А вот далекая! — указал он на одну еще вовсе не старую женщину, но очень худую и испитую, не то что загоревшую, а как бы

всю почерневшую лицом. Она стояла на коленях и неподвижным взглядом смотрела на старца. Во взгляде ее было что-то как бы иступленное.

— Издалека, батюшка, издалека, отселева триста верст. Издалека, отец, издалека, — проговорила женщина нараспев, как-то покачивая плавно из стороны в сторону головой и подпирая щеку ладонью. Говорила она как бы причитывая. Есть в народе горе молчаливое и многотерпеливое; оно уходит в себя и молчит. Но есть горе и надорванное: оно пробьется раз слезами и с той минуты уходит в причитывания. Это особенно у женщин. Но не легче оно молчаливого горя. Причитания утешают тут лишь тем, что еще более растрavляют и надрывают сердце. Такое горе и утешения не желает, чувством своей неутолимости питается. Причитания лишь потребность раздражать беспрерывно рану.

— По мещанству, надоть быть? — продолжал, любопытно в нее вглядываясь, старец.

— Городские мы, отец, городские, по крестьянству мы, а городские, в городе проживаем. Тебя повидать, отец, прибыла. Слышали о тебе, батюшка, слышали. Сыночка младенчика схоронила, пошла молить Бога. В трех монастырях побывала, да указали мне: «Зайди, Настасьюшка, и сюда, к вам то есть, голубчик, к вам». Пришла, вчера у стояния была, а сегодня и к вам.

— О чем плачешь-то?

— Сыночка жаль, батюшка, трехлеточек был, без трех только месяцев и три бы годика ему. По сыночку мучусь, отец, по сыночку. Последний сыночек оставался, четверо было у нас с Никитушкой, да не стоят у нас детушки, не стоят, желанный, не стоят. Трех первых схоронила я, не жалела я их очень-то, а этого последнего схоронила и забыть его не могу. Вот точно он тут предо мной стоит, не отходит. Душу мне иссушил. Посмотрю на его белишечко, на рубашоночку аль на сапожки и взвою. Разложу, что после него осталось, всякую вещь его, смотрю и вою. Говорю Никитушке, мужу-то моему: отпусти ты меня, хозяин, на богомолье сходить. Извозчик он, не бедные мы, отец, не бедные, сами от себя извоз ведем, все, свое содержим, и лошадок и экипаж. Да на что теперь нам добро? Зашибаться он стал без меня, Никитушка-то мой, это наверно что так, да и прежде того: чуть я отвернусь, а уж он и ослабеет. А теперь и о нем не думаю. Вот уж третий месяц из дому. Забыла я, обо всем забыла и помнить не хочу;

а и что я с ним теперь буду? Кончила я с ним, кончила, со всеми покончила. И не глядела бы я теперь на свой дом и на свое добро, и не видала б я ничего вовсе!

— Вот что, мать, — проговорил старец, — однажды древний великий святой увидел во храме такую же, как ты, плачущую мать и тоже по младенце своем, по единственному, которого тоже призвал Господь. «Или не знаешь ты, — сказал ей святой, — сколь сии младенцы пред престолом Божиим дерзновенны? Даже и нет никого дерзновеннее их в царствии небесном: ты, Господи, даровал нам жизнь, говорят они Богу, и только лишь мы узрели ее, как ты ее у нас и взяла назад. И столь дерзновенно просят и спрашивают, что Господь дает им немедленно ангельский чин. А посему, — молвил святой, — и ты радуйся, жено, а не плачь, и твой младенец теперь у Господа в сонме ангелов его пребывает». Вот что сказал святой плачущей жене в древние времена. Был же он великий святой и неправды ей повредить не мог. Посему знай и ты, мать, что и твой младенец наверно теперь предстоит пред престолом Господним, и радуется, и веселится, и о тебе Бога молит. А потому и ты плачь, но радуйся.

Женщина слушала его, подпирая рукой щеку и потупившись. Она глубоко вздохнула.

— Тем самым и Никитушка меня утешал, в одно слово, как ты, говорил: «Неразумная ты, говорит, чего плачешь, сыночек наш наверно теперь у Господа Бога вместе с ангелами воспевает». Говорит он это мне, а и сам плачет, вижу я, как и я же, плачет. «Знаю я, говорю, Никитушка, где ж ему и быть, коль не у Господа Бога, только здесь-то, с нами-то его теперь, Никитушка, нет, подле-то, вот как прежде сидел!» И хотя бы я только взглянула на него лишь разочек, только один разочек на него мне бы опять поглядеть, и не подошла бы к нему, не промолвила, в углу бы притаилась, только бы минуточку едину повидать, послыхать его, как он играет на дворе, придет, бывало, крикнет своим голосочком: «Мамка, где ты?» Только б услышать-то мне, как он по комнате своими ножками пройдет разик, всего бы только разик, ножками-то своими тук-тук, да так часто, часто, помню, как, бывало, бежит ко мне, кричит да смеется, только б я его ножки-то услышала, услышала бы, признала! Да нет его, батюшка, нет, и не услышу его никогда! Вот его поясочек, а его-то и нет, и никогда-то мне теперь не видать, не слышать его!..

Она вынула из-за пазухи маленький позументный поясочек своего мальчика и, только лишь взглянула на него, так и затряслась от рыданий, закрыв пальцами глаза свои, сквозь которые потекли вдруг брызнувшие ручьем слезы.

— А это, — проговорил старец, — это древняя «Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, потому что их нет», и таковой вам, матерям, предел на земле положен. И не утешайся, и не надо тебе утешаться, не утешайся и плачь, только каждый раз, когда плачешь, вспоминай неуклонно, что сыночек твой — есть единый от ангелов Божиих — оттуда на тебя смотрит и видит тебя, и на твои слезы радуется, и на них Господу Богу указывает. И надолго еще тебе сего великого материнского плача будет, но обратится он под конец тебе в тихую радость, и будут горькие слезы твои лишь слезами тихого умиления и сердечного очищения, от грехов спасающего. А младенчика твоего помяну за упокой, как звали-то?

— Алексеем, батюшка.

— Имя-то милое. На Алексея человека Божия?

— Божия, батюшка, Божия, Алексея человека Божия!

— Святой-то какой! Помяну, мать, помяну и печаль твою на молитве вспомяну и супруга твоего за здравие помяну. Только его тебе грех оставлять. Ступай к мужу и береги его. Увидит оттуда твой мальчик, что бросила ты его отца, и заплачет по вас; зачем же ты блаженство-то его нарушаешь? Ведь жив он, жив, ибо жива душа вовеки; и нет его в доме, а он невидимо подле вас. Как же он в дом придет, коль ты говоришь, что возненавидела дом свой? К кому ж он придет, коль вас вместе, отца с матерью, не найдет? Вот он снится теперь тебе, и ты мучаешься, а тогда он тебе кроткие сны пошлет. Ступай к мужу, мать, сего же дня ступай.

— Пойду, родной, по твоему слову пойду. Сердце ты мое разобрал. Никитушка, ты мой Никитушка, ждешь ты меня, голубчик, ждешь! — начала было причитывать баба, но старец уже обратился к одной старенькой старушонке, одетой не по-страннически, а по-городски. По глазам ее видно было, что у нее какое-то дело и что пришла она нечто сообщить. Назвалась она унтер-офицерскою вдовой, не издалека, всего из нашего же города. Сыночек у ней Васенька, где-то в комиссариате служил, да в Сибирь поехал, в Иркутск. Два раза оттуда писал, а тут вот уже год писать перестал. Справлялась она о нем, да, по правде, не знает, где и справиться-то.

— Только и говорит мне наемни Степанида Ильинишна Бедрягина, купчиха она, богатая: возьми ты, говорит, Прохоровна, и запиши ты, говорит, сыночка своего в поминанье, снеси в церковь, да и помяни за упокой. Душа-то его, говорит, затоскует, он и напишет письмо. «И это, — говорит Степанида Ильинишна, — как есть верно, многократно испытано». Да только я сумлеваюсь... Свет ты наш, правда оно аль неправда, и хорошо ли так будет?

— И не думай о сем. Стыдно это и спрашивать. Да и как это возможно, чтобы живую душу да еще родная мать за упокой поминала! Это великий грех, колдовству подобно, только по незнанию твоему лишь прощается. А ты лучше помоли Царицу небесную, скорую заступницу и помощницу, о здоровье его, да чтоб и тебя простила за неправильное размышление твое. И вот что я тебе еще скажу, Прохоровна: или сам он к тебе вскоре обратно прибудет, сынок твой, или наверно письмо придет. Так ты и знай. Ступай и отселе покойна будь. Жив твой сынок, говорю тебе.

— Милый ты наш, награди тебя Бог, благодетель ты наш, молебщик ты за всех нас и за грехи наши...

А старец уже заметил в толпе два горящие, стремящиеся к нему взгляда изнуренной, на вид чахоточной, хотя и молодой еще крестьянки. Она глядела молча, глаза просили о чем-то, но она как бы боялась приблизиться.

— Ты с чем, родненькая?

— Разрешь мою душу, родимый, — тихо и не спеша промолвила она, стала на колени и поклонилась ему в ноги.

— Согрешила, отец родной, греха моего боюсь.

Старец сел на нижнюю ступеньку, женщина приблизилась к нему, не вставая с колен.

— Вдовею я, третий год, — начала она полушепотом, сама как бы вздрагивая. — Тяжело было замужем-то, старый был он, больно избил меня. Лежал он больной; думаю я, гляжу на него; а коль выздоровеет, опять встанет, что тогда? И вошла ко мне тогда эта самая мысль...

— Постой, — сказал старец и приблизил ухо свое прямо к ее губам. Женщина стала продолжать тихим шепотом, так что ничего почти нельзя было уловить. Она кончила скоро.

— Третий год? — спросил старец.

— Третий год. Сперва не думала, а теперь хворать начала, тоска пристала.

— Издалека?

— За пятьсот верст отселева.

— На исповеди говорила?

— Говорила, по два раза говорила.

— Допустили к причастию-то?

— Допустили. Боюсь; помирать боюсь.

— Ничего не бойся, и никогда не бойся, и не тоскуй. Только бы покаяние не оскудевало в тебе — и все Бог простит. Да и греха такого нет и не может быть на всей земле, какого бы не простил Господь воистину кающемуся. Да и совершить не может совсем такого греха великого человек, который бы истощил бесконечную Божью любовь. Али может быть такой грех, чтобы превысил Божью любовь? О покаянии лишь заботься, непрестанном, а боязнь отгони вовсе. Веруй, что Бог тебя любит так, как ты и не помышляешь о том, хотя бы со грехом твоим и во грехе твоём любит. А об одном кающемся больше радости в небе, чем о десяти праведных, сказано давно. Иди же и не бойся. На людей не огорчайся, за обиды не сердись. Покойнику в сердце все прости, чем тебя оскорбил, примиришь с ним воистину. Коли каешься, так и любишь. А будешь любить, то ты уже Божья... Любовью все покупается, все спасается. Уж коли я, такой же, как и ты, человек грешный, над тобой умилился и пожалел тебя, кольми паче Бог. Любовь такое бесценное сокровище, что на нее весь мир купить можешь, и не только свои, но и чужие грехи еще выкупишь. Ступай и не бойся.

Он перекрестил ее три раза, снял с своей шеи и надел на нее образок. Она молча поклонилась ему до земли. Он привстал и весело поглядел на одну здоровую бабу с грудным ребеночком на руках.

— Из Вышегорья, милый.

— Шесть верст, однако, отсюда, с ребеночком томилась. Чего тебе?

— На тебя глянуть пришла. Я ведь у тебя бывала, аль забыл? Не велика же в тебе память, коли уж меня забыл. Сказали у нас, что ты хворый, думаю, что ж, я пойду его сама повидею: вот и вижу тебя, да какой же ты хворый? Еще двадцать лет проживешь, право, Бог с тобою! Да и мало ли за тебя молебщиков, тебе ль хворать?

— Спасибо тебе за все, милая.

— Кстати будет просьбица моя невеликая: вот тут шестьдесят копеек, отдай ты их, милый, такой, какая меня бедней. Пошла я сюда, да и думаю: лучше уж чрез него подам, уж он знает, которой отдать.

— Спасибо, милая, спасибо, добрая. Люблю тебя. Непременно исполню. Девочка на руках-то?

— Девочка, свет, Лизавета.

— Благослови Господь вас обеих, и тебя и младенца Лизавету. Развеселила ты мое сердце, мать. Прощайте, милые, прощайте, дорогие, любезные.

Он всех благословил и глубоко всем поклонился.

IV. Маловерная дама

Приезжая дама помещица, взирая на всю сцену разговора с простонародьем и благословения его, проливала тихие слезы и утирала их платочком. Это была чувствительная светская дама и с наклонностями во многом искренно добрыми. Когда старец подошел наконец и к ней, она встретила его восторженно:

— Я столько, столько вынесла, смотря на всю эту умильную сцену... — не договорила она от волнения. — О, я понимаю, что вас любит народ, я сама люблю народ, я желаю его любить, да и как не любить народ, наш прекрасный, простодушный в своем величии русский народ!

— Как здоровье вашей дочери? Вы опять пожелали со мною беседовать?

— О, я настоятельно просила, я умоляла, я готова была на колени стать и стоять на коленях хоть три дня пред вашими окнами, пока бы вы меня впустили. Мы приехали к вам, великий исцелитель, чтобы высказать всю нашу восторженную благодарность. Ведь вы Лизую исцелили, исцелили совершенно, а чем? — тем, что в четверг помолились над нею, возложили на нее ваши руки. Мы облобызать эти руки спешили, излить наши чувства и наше благоговение!

— Как так исцелил? Ведь она всё еще в кресле лежит?

— Но ночные лихорадки совершенно исчезли, вот уже двое суток, с самого четверга, — нервно зашепила дама. — Мало того: у ней ноги окрепли. Сегодня утром она встала здоровая, она спала всю ночь, посмотрите на ее румянец, на ее светящиеся глазки. То все плакала,

а теперь смеется, весела, радостна. Сегодня непременно требовала, чтоб ее поставили на ноги постоять, и она целую минуту простояла сама, безо всякой поддержки. Она бьется со мной об заклад, что через две недели будет кадриль танцевать. Я призывала здешнего доктора Герценштубе; он пожимает плечами и говорит: дивляюсь, недоумеваю. И вы хотите, чтобы мы не беспокоили вас, могли не лететь сюда, не благодарить? Lise, благодари же, благодари!

Миленькое, смеющееся личико Lise сделалось было вдруг серьезным, она приподнялась в креслах, сколько могла, и, смотря на старца, сложила пред ним свои ручки, но не вытерпела и вдруг рассмеялась...

— Это я на него, на него! — указала она на Алешу, с детской досадой на себя за то, что не вытерпела и рассмеялась. Кто бы посмотрел на Алешу, стоявшего на шаг позади старца, тот заметил бы в его лице быструю краску, в один миг залившую его щеки. Глаза его сверкнули и потупились.

— У ней к вам, Алексей Федорович, поручение... Как ваше здоровье, — продолжала маменька, обращаясь вдруг к Алеше и протягивая к нему свою прелестно гантированную ручку. Старец оглянулся и вдруг внимательно посмотрел на Алешу. Тот приблизился к Лизе и, как-то странно и неловко усмехаясь, протянул и ей руку. Lise сделала важную физиономию.

— Катерина Ивановна присылает вам чрез меня вот это, — подала она ему маленькое письмецо. — Она особенно просит, чтобы вы зашли к ней, да поскорей, поскорей, и чтобы не обманывать, а непременно прийти.

— Она меня просит зайти? К ней меня... Зачем же? — с глубоким удивлением пробормотал Алеша. Лицо его вдруг стало совсем озабоченное.

— О, это все по поводу Дмитрия Федоровича и... всех этих последних происшествий, — бегло пояснила мамаша. — Катерина Ивановна остановилась теперь на одном решении... но для этого ей непременно надо вас видеть... зачем? Конечно, не знаю, но она просила как можно скорей. И вы это сделаете, наверно сделаете, тут даже христианское чувство велит.

— Я видел ее всего только один раз, — продолжал все в том же недоумении Алеша.

— О, это такое высокое, такое недостижимое существо!.. Уж по одним страданиям своим... Сообразите, что она вынесла, что она теперь выносит, сообразите, что ее ожидает... все это ужасно, ужасно!

— Хорошо, я приду, — решил Алеша, пробежав коротенькую и загадочную записочку, в которой, кроме убедительной просьбы прийти, не было никаких пояснений.

— Ах, как это с вашей стороны мило и великолепно будет, — вдруг, вся одушеваясь, вскричала Lise. — А я ведь маме говорю: ни за что он не пойдет, он спасается. Экой, экой вы прекрасный! Ведь я всегда думала, что вы прекрасный, вот что мне приятно вам теперь сказать!

— Lise! — внушительно проговорила мамаша, впрочем тотчас же улыбнулась.

— Вы и нас забыли, Алексей Федорович, вы совсем не хотите бывать у нас: а между тем Lise мне два раза говорила, что только с вами ей хорошо. — Алеша поднял потупленные глаза, опять вдруг покраснел и опять вдруг, сам не зная чему, усмехнулся. Впрочем, старец уже не наблюдал его. Он вступил в разговор с захожим монахом, ожидавшим, как мы уже говорили, подле кресел Lise его выхода. Это был, по-видимому, из самых простых монахов, то есть из простого звания, с коротеньким, нерушимым мировоззрением, но верующий и в своем роде упорный. Он объявил себя откуда-то с дальнего севера, из Обдорска, от святого Сильвестра, из одного бедного монастыря всего в девять монахов. Старец благословил его и пригласил зайти к нему в келью, когда ему будет угодно.

— Как же вы дерзаете делать такие дела? — спросил вдруг монах, внушительно и торжественно указывая на Lise. Он намекал на ее «исцеление».

— Об этом, конечно, говорить еще рано. Облегчение не есть еще полное исцеление и могло произойти и от других причин. Но если что и было, то ничью силой, кроме как Божиим изволением. Все от Бога. Посетите меня, отец, — прибавил он монаху, — а то не во всякое время могу: хвораю и знаю, что дни мои сочтены.

— О нет, нет, Бог вас у нас не отнимет, вы проживете еще долго, долго, — вскричала мамаша. — Да и чем вы больны? Вы смотрите таким здоровым, веселым, счастливым.

— Мне сегодня необыкновенно легче, но я уже знаю, что это всего лишь минута. Я мою болезнь теперь безошибочно понимаю. Если же я вам кажусь столь веселым, то ничем и никогда не могли вы

меня столь обрадовать, как сделав такое замечание. Ибо для счастья созданы люди, и кто вполне счастлив, тот прямо удостоен сказать себе: «Я выполнил завет Божий на сей земле». Все праведные, все святые, все святые мученики были все счастливы.

— О, как вы говорите, какие смелые и высшие слова! — вскричала мамаша. — Вы скажете и как будто пронзите. А между тем счастье, счастье — где оно? Кто может сказать про себя, что он счастлив? О, если уж вы были так добры, что допустили нас сегодня еще раз вас видеть, то выслушайте все, что я вам прошлый раз недоговорила, не посмела сказать, все, чем я так страдаю, и так давно, давно! Я страдаю, простите меня, я страдаю... — И она в каком-то горячем порывистом чувстве сложила пред ним руки.

— Чем же особенно?

— Я страдаю... неверием...

— В Бога неверием?

— О нет, нет, я не смею и подумать об этом, но будущая жизнь — это такая загадка! И никто-то, ведь никто на нее не отвечает! Послушайте, вы целитель, вы знаток души человеческой; я, конечно, не смею претендовать на то, чтобы вы мне совершенно верили, но уверяю вас самым великим словом, что я не из легкомыслия теперь говорю, что мысль эта о будущей загробной жизни до страдания волнует меня, до ужаса и испуга... И я не знаю, к кому обратиться, я не смела всю жизнь... И вот я теперь осмеливаюсь обратиться к вам... О Боже, за какую вы меня теперь сочтете! — Она всплеснула руками.

— Не беспокойтесь о моем мнении, — ответил старец. — Я вполне верую в искренность вашей тоски.

— О, как я вам благодарна! Видите, я закрываю глаза и думаю: если все веруют, то откуда взялось это? А тут уверяют, что все это взялось сначала от страха пред грозными явлениями природы и что всего этого нет. Ну что, думаю, я всю жизнь верила — умру, и вдруг ничего нет, и только «вырастет лопух на могиле», как прочитала я у одного писателя. Это ужасно! Чем, чем возратить веру? Впрочем, я верила, лишь когда была маленьким ребенком, механически, ни о чем не думая... Чем же, чем это доказать, я теперь пришла повергнуться пред вами и просить вас об этом. Ведь если я упущу и теперешний случай — то мне во всю жизнь никто уж не ответит. Чем же доказать, чем убедиться? О, мне несчастье! Я стою и кругом вижу,

что всем все равно, почти всем, никто об этом теперь не заботится, а я одна только переносить этого не могу. Это убийственно, убийственно!

— Без сомнения, убийственно. Но доказать тут нельзя ничего, убедиться же возможно.

— Как? Чем?

— Опытом деятельной любви. Постарайтесь любить ваших ближних деятельно и неустанно. По мере того как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии Бога, и в бессмертии души вашей. Если же дойдете до полного самоотвержения в любви к ближнему, тогда уж несомненно уверуете, и никакое сомнение даже и не возможно зайти в вашу душу. Это испытано, это точно.

— Деятельной любви? Вот и опять вопрос, и такой вопрос, такой вопрос! Видите, я так люблю человечество, что, верите ли, мечтаю иногда бросить все, все, что имею, оставить Lise и идти в сестры милосердия. Я закрываю глаза, думаю и мечтаю, и в эти минуты я чувствую в себе непреодолимую силу. Никакие раны, никакие гнойные язвы не могли бы меня испугать. Я бы перевязывала и обмывала собственными руками, я была бы сиделкой у этих страдальцев, я готова целовать эти язвы...

— И то уж много и хорошо, что ум ваш мечтает об этом, а не о чем ином. Нет-нет да невзначай и в самом деле сделаете какое-нибудь доброе дело.

— Да, но долго ли бы я могла выжить в такой жизни? — горячо и почти как бы исступленно продолжала дама. — Вот главнейший вопрос! Это самый мой мучительный из вопросов. Я закрываю глаза и спрашиваю сама себя: долго ли бы ты выдержала на этом пути? И если больной, язвы которого ты обмываешь, не ответит тебе тотчас же благодарностью, а, напротив, станет тебя же мучить капризами, не ценя и не замечая твоего человеколюбивого служения, станет кричать на тебя, грубо требовать, даже жаловаться какому-нибудь начальству (как и часто случается с очень страдающими) — что тогда? Продолжится твоя любовь или нет? И вот — представьте, я с содроганием это уже решила: если есть что-нибудь, что могло бы расхолодить мою «деятельную» любовь к человечеству тотчас же, то это единственно неблагодарность. Одним словом, я работница за плату, я требую тотчас же платы, то есть похвалы себе и платы за любовь любовью. Иначе я никого не способна любить!

Она была в припадке самого искреннего самобичевания и, кончив, с вызывающею решимостью поглядела на старца.

— Это точь-в-точь как рассказывал мне, давно уже впрочем, один доктор, — заметил старец. — Человек был уже пожилой и бесспорно умный. Он говорил так же откровенно, как вы, хотя и шутя, но скорбно шутя; я, говорит, люблю человечество, но дивлюсь на себя самого: чем больше я люблю человечество вообще, тем меньше я люблю людей в частности, то есть порознь, как отдельных лиц. В мечтах я нередко, говорит, доходил до страстных помыслов о служении человечеству и, может быть, действительно пошел бы на крест за людьми, если б это вдруг как-нибудь потребовалось, а между тем я двух дней не в состоянии прожить ни с кем в одной комнате, о чем знаю из опыта. Чуть он близко от меня, и вот уж его личность давит мое самолюбие и стесняет мою свободу. В одни сутки я могу даже лучшего человека возненавидеть: одного за то, что он долго ест за обедом, другого за то, что у него насморк и он беспрерывно сморкается. Я, говорит, становлюсь врагом людей, чуть-чуть лишь те ко мне прикоснутся. Зато всегда так происходило, что чем более я ненавидел людей в частности, тем пламеннее становилась любовь моя к человечеству вообще.

— Но что же делать? Что же в таком случае делать? Тут надо в отчаяние прийти?

— Нет, ибо и того довольно, что вы о сем сокрушаетесь. Сделайте, что можете, и сочтется вам. У вас же много уже сделано, ибо вы могли столь глубоко и искренно сознать себя сами! Если же вы и со мной теперь говорили столь искренно для того, чтобы, как теперь от меня, лишь похвалу получить за вашу правдивость, то, конечно, ни до чего не дойдете в подвигах деятельной любви; так все и останется лишь в мечтах ваших, и вся жизнь мелькнет как призрак. Тут, понятно, и о будущей жизни забудете, и сами собой под конец как-нибудь успокоитесь.

— Вы меня раздавили! Я теперь только, вот в это мгновение, как вы говорили, поняла, что я действительно ждала только вашей похвалы моей искренности, когда вам рассказывала о том, что не выдержу неблагодарности. Вы мне подсказали меня, вы уловили меня и мне же объяснили меня!

— Взаправду вы говорите? Ну теперь, после такого вашего признания, я верую, что вы искренни и сердцем добры. Если не дойдете